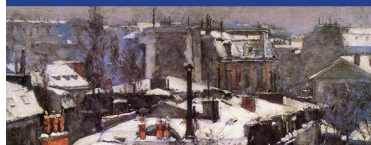




Анатолий Рыбаков

Екатерина Воронина

ФТМ



Анатолий Рыбаков
Екатерина Воронина

«ФТМ»

1955

Рыбаков А. Н.

Екатерина Воронина / А. Н. Рыбаков — «ФТМ», 1955

ISBN 978-5-457-07276-3

Урожденная волжанка, воспитанница суровой и властной бабушки, Екатерина рано осталась без матери. Редкие встречи с отцом – старым, заслуженным капитаном – сформировали в ней твердый и бескомпромиссный характер. Наступила война. Не задумываясь, Екатерина пошла работать в госпиталь. Здесь к ней пришла первая любовь, которая принесла и первое разочарование. После войны, окончив институт, Екатерина – инженер, начальник участка речного порта. Непростые отношения сложились у нее с начальником пароходства. Когда его сняли с работы из-за справедливых нареканий, Екатерина поняла, что навсегда потеряла самого близкого человека.

ISBN 978-5-457-07276-3

© Рыбаков А. Н., 1955

© ФТМ, 1955

Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	10
Глава третья	15
Глава четвертая	20
Глава пятая	25
Глава шестая	28
Глава седьмая	32
Глава восьмая	37
Глава девятая	41
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Рыбаков Анатолий Наумович Екатерина Воронина

Глава первая

Поселок Кадницы двумя ярусами расположился на правом, высоком, берегу Волги, в сорока километрах от Горького. От пристани к поселку дорога идет лугом, полным комаров и сырых, пьянящих запахов. Меж кустов ежевики, шиповника, черемухи блестят небольшие озера. За лугами темнеют громады приволжских лесов.

Речонка Кудьма, мелкая и несудоходная, с глубокими омутами и придонными холодными родниками, опоясывает гору, на которой стоит село. На берегу разбросаны лодки, висят на кольях сети.

Сразу за шатким деревянным мостиком начинается подъем в гору, вначале отлогий, затем все более крутой. Бревенчатые хибары и двухэтажные каменные дома тесно прижимаются друг к другу, образуя извилистые улочки, разделенные садами и огородами.

С горы, где и сейчас стоит ветхая церковь, открывается широкий вид на Волгу. Здесь она еще не так бескрайна, как за Камским устьем. Но, уже приняв Оку и медленно неся свои синие воды меж правым, высоким, лесистым берегом и левым, луговым, она являет собой могучее и незабываемое зрелище.

Возле церкви – глубокие рвы, поросшие редкой травой и мелким кустарником. В четырнадцатом веке татары казнили здесь русских пленных, что создало жестокую славу этому месту и дало ему название «Казницы».

Много позже тут возникло поселение. Жители его изготавливали из дуба и липы кадки, или, как их тогда называли, кадницы. Однако это занятие, изменившее одну букву в романтическом названии села и навсегда закрепившее за ним новое – Кадницы, было временным и побочным. Главным стало бурлачество. Ярмарки – рядом, сначала Макарьевская, затем Нижегородская, на подходах к ним самые тяжелые для судов перекаты – Голошубинский, Кадницкий, Кирпичный, а под Нижним – знаменитый Телячий Брод.

Весной, великим постом, тысячи бурлаков из ближайших уездов Нижегородской губернии и северных уездов Пензенской приходили сюда на бурлацкий базар. Оброчные крестьяне, городская голытьба, беспаспортные бродяги – нищие, оборванные, голодные люди шумели, волновались, посылали десятников к нанимателю, спорили, не соглашались, хотя все знали, что примут хозяйские условия: нужно отработать прошлогодний долг – кабалу, – и деваться все равно некуда.

Получив увольнительные виды и напившись в последний раз хозяйского вина, бурлаки посуху отправлялись вниз, к стоянкам судов, – в Астрахань, Самару, Хвалынский, присоединяясь по пути к тысячам нижегородских, пензенских, вятских, симбирских, тамбовских, рязанских, ярославских и иных губерний мужиков, которых нужда гнала сюда, на Волгу-матушку, широкую дорогу – долгий путь...

«Нечем платить долгу – ехать на Волгу». Каторжная здесь работа, изнурительна лямка, оставляющая на груди темный рубец, а все же нет ни помещика, ни бурмистра, ни своей постылой нищей избы. Есть простор, и воля, и заунывная бурлацкая песня, и Астрахань – Разбалуи-город. Арбузы и дыни здесь нипочем. И куда прохожий или проезжий ни зайди, везде его принимают, вида не спрашивают, все к его услугам – и вино, и женщины, были бы только деньги.

И не знаешь, с чем отсюда уйдешь – с рублем или с костылем, пробираясь до дому Христовым именем, а то и вовсе не придешь, подохнешь где-нибудь на пустынном волжском

берегу – «тянешь лямку, пока не выроют ямку». Зато посмотришь, как перед зеленой громадой Жигулей замирает сердце купчины-хозяина. Кладет он земные поклоны – пронеси, мол, господи, это место, а то налетят молодцы-разбойнички, и отзовутся ему тогда кровомозольные бурлацкие деньги.

Здесь, на Волге, забитый крепостной мужик видел свое государство-державу не в фуражке пьяного урядника, а обнимал все одним взглядом – леса, тверские, костромские, муромские, ярославские, и Оку, проносившую свои воды через всю коренную Россию, и Каму, текущую с самого Урала, и мордву, черемисов, татар, чувашей, и хлебные губернии Нижнего Поволжья, и дороги на Среднюю Азию у Самары и Сызрани, и царицынские смыкающиеся с Доном степи, и персов, и кавказцев в Астрахани. Тысячеверстные просторы, величественные в своей простоте и безыскусственности, где столетиями формировался характер волгара – человека разгульного и деловитого, непоседливого и работающего, всегда устремленного к новым местам и землям.

Бесчисленные поколения кадницких бурлаков, в течение столетия топтавших бурлацкую тропу – бечевник от Астрахани до Нижнего, – породили знаменитых на Волге кадницких лоцманов, знавших реку и в половодье и в межень как свои пять пальцев. Отправляясь в плавание, лоцманы брали с собой жен и детей – будущий волгарь знакомился со своей кормилицей-рекой с пеленок. Именно из Кадниц произошли наиболее известные на Волге лоцманские, а с развитием пароходства и капитанские семьи: Бармины, Вахтуровы, Сутырины, Неверовы, Лихины, Маметьевы. Со временем появились на Волге и другие села, поставляющие кадровых речников: Доскино, Голошубиха, Шава, Бахмут – лоцманов, Луговой Борок – водолизов и шкиперов, Ундеры и оба Услона, возле Казани, – грузчиков-татар, Сергачи и Брамзино – грузчиков-русских, Козьмодемьянск и Промзино – плотогонов. Но слава родины волгарей осталась за Кадницами.

Среди капитанских семей одной из стариннейших была семья Ворониных. Предки их пришли с тамбовской реки Вороны. Еще давным-давно были живы старики, помнившие Никифора Воронина – известного в свое время волжского лоцмана, который провел сквозным рейсом от Нижнего до Астрахани один из первых на Волге пароходов.

Отец Никифора до шестидесяти лет ходил «шишкой» – передовым в лямке. Опытный бурлак, он умел выбирать тропку и, не оглядываясь, чувствовал, кто тяги не дотягивает. Всю жизнь ходил в лямке, в лямке и умер.

Шли однажды бечевой в Костычах по тяжелому, обрывистому берегу, утопая в глубокой, вязкой грязи. Верховой ветер – горыч – гнал по воде валы с беляком, сносил судно, бечева тащила за собой бурлаков. Но торопился хозяин, спешил к ярмарке с дорогим рыбным товаром. Перекинув лямки вместо груди на спину, измученные бурлаки поворачивались лицом к уносимому ветром судну и, крепко уцепившись руками за бечеву, наваливаясь всем корпусом на лямку, жалобно пели:

Ох, матушка Волга,
Широка и долга,
Укачала, уваляла,
У нас силушки не стало.

Расшиву вытянули. Только старик Воронин уже не поднялся. Тут же, на берегу, его и похоронили. А когда пришли в Нижний, хозяин вычел из Никифорова заработка стоимость пути, который не дошел его отец. Никифор знал хозяйские порядки: с одиннадцати лет плавал артельным кашеваром, с пятнадцати впрягся в лямку, а потом за ловкость-повертливость перевели подручным лоцмана. Но не промолчал – характером был отчаянный, рискованный, озорной, не чета другим бурлакам, которые только в плесе буяны, а дома бараны.

Узколиций, рябоватый, с волосами соломенного цвета, перехваченными со лба на затылок черным, блестящим от пота ремешком, он посмотрел на хозяина серыми разбойничьими глазами и, зловеще улыбаясь, спросил:

– Чужой бедой разжиться хочешь?

– Чем недоволен – жалуйся. Есть на то Судоходная расправа, – мирно ответил хозяин. Потом повернулся и громко, чтобы все слышали, добавил: – Чего не скажет бурлак при расчете! Тоже ведь по человечеству надо.

– В вашей-то... расправе богатый не бывает виноватый! – крикнул Никифор, наступая на хозяина.

Эти дерзкие слова, может быть, и простились бы Никифору – время на ярмарке горячее, не до какого-то бурлака здесь. Но, ткнув хозяину в бороду зажатými в кулаке остаточными деньгами, Никифор добавил:

– Смотри, не подавиться бы тебе этим.

За что и был тут же наказан линьками.

Когда Никифор встал, хозяин жалостливо вздохнул:

– Вот и поддали тебе, малый, ума в задние ворота. Не сладки они, видать, боцманские капли...

Застегивая штаны, Никифор ответил:

– Ничего... Только и мы знаем... Знаем, чему, где и как тому быть надоть.

Хозяин имел право наказывать в плесе, а не на берегу. Но Никифор жаловаться не стал. Только через год, в ярмарку, нашли этого купца в Кунавине возле публичного дома, оглушенного и раздетого до нитки. Следствие по делу вели, но ничего не дознались – место глухое, что ни ночь, то караул кричат. Да и купцу наука: есть на Покровке и поблагороднее заведения, не ищи, где дешево!

Никифор три года где-то пропадал, пока не доставили его в волость из Хвалынского как «бесписьменного». Поговаривали, что разбойничал он в Жигулях, но улики не было. Подержали его в волости и, примерно наказав – теперь уже не линьками, а розгами, – отпустили. А разбойничья слава с ним осталась, хотя ему же и на пользу: не было случая, чтобы тронули его в Жигулях. За лихость и решительность хозяева отличали его перед другими лоцманами, платили по двести пятьдесят рублей серебром за навигацию; когда же пошли по Волге пароходы, Никифор меньше пятисот рублей не брал.

Со временем он стал известен как наилучший на Волге лоцман: знал на реке каждый перекат, каждую обмелину, каждую керчу. Трое его сыновей с малых лет плавали с ним. Никифор их учил:

– Волга – река мудреная. В одну пору – мать, в другую – мачеха. Стрежень меняется что ни весна. Судовой ход нынче здесь, а на будущую весну, смотришь, его повернуло эвон куда, а тут намыло песчаную косу. Так что смотреть надо! Попади только судно на мель, а там уж песок станет крутиться да замывать, так что никакая сила потом не вытащит посудину.

Сам Никифор за всю свою лоцманскую жизнь ни разу не посадил судно на мель: был смел, но осторожен. Хозяев не боялся, был с ними дерзок, в плесе вовсе не признавал. Презрительно говорил о них:

– У хозяина совести да разума мало, а корысти и глупости – этого довольно. Лезет на перекат – протрусь, думает, зачем убыточиться, распауживаться. Смотришь – и сел на мель в самых воротах. Сам нейдет и другим судам загородил дорогу – и низовым и верховым.

Большая путина, от Астрахани до Нижнего, продолжалась обычно шесть недель. Никифор Воронин проходил ее за пять, а то и за четыре. Поэтому и любили с ним ходить бурлаки и судорабочие, хотя и им спуска не давал. Боялись его в плесе и хозяева, и капитаны, и рабочие.

Одевался Никифор чисто. Всегда в новой красной рубахе, синем суконном кафтане, сапогах и фуражке из юфти, сшитой на манер охотничьего картуза. Только и было проку от больших его заработков. Любил вино, женщин, загуливал иной раз почище другого купца, особенно на ярмарке. Тогда угощал всех подряд, все пропивал с себя, ругал и бога и власть, дрался с людьми, потому что в бога не верил, власть ненавидел, слабых и робких презирал. Душа его рвалась куда-то, а куда – он и сам не знал. Порядок был строг и незыблем. Не было дороги ни конному, ни пешему. Вон Михайла Сутырин, тоже кадницкий, изобрел коноводную машину, а как был крепостным графа Шереметева, так им и остался. Воли и той не дождался.

А что проку в ней, в воле этой?! Заместо плетки – мошна, заместо господского дома – лабаз. Стены кирпичные, с железными затворными ставнями. Облепили лабазы всю землю – поди выковырай!

Да нет уж и тех людей! Тихо стало в Жигулях, присмирел народ. Свистят, гудят пароходы, задушили бурлацкую песню, заглушили лихой, разбойный окрик.

Никифор старел и с годами все больше ожесточался. Душа просится в Понизовье, к Жигулям, в Астрахань. Ан нет! Знай, лоцман, свой участок, тыкайся по нему, как кутенок, из угла в угол. Да и лоцман теперь уже не то. На пароходе первая фигура – капитан. А для того надо грамоте знать и экзамены выдержать. А что в ней, в грамоте! На реке буквами ничего не написано. И с лоцмана экзамен требуют, и хозяин над тобой – лоцманская контора, и все по бумажкам да по картам. Тоска, тоска! Чистая публика на пристанях, и дамы в шляпках, и господа в мундирах, и купцы в котелках, и так же крючники-горбачи таскают кули по девять пудов, и в церквах звонят – рвут душу, точно хоронят кого. Нет уж той Волги! Обмелела, как обмелели люди, перегородилась участками, как огородили мужика запретами, уставилась бакенами, как жизнь чиновниками, запачкали ее нефтью, поразогнали рыбу.

В 1887 году Никифор Воронин вышел в отставку и последние девять лет жизни прожил безвыездно в Кадницах. Был ворчлив, придиричив, с другими стариками не знался. Иных презирал за хвастливость, за вранье, других – за то, что уступили молодым, в собственном доме стали приживальщиками. Маленький, но удивительно легкий и стройный, с седыми насупленными бровями, в картузе и тужурке, аккуратно застегнутой на все пуговицы, выходил он на берег Волги и долго стоял там, вглядываясь в проходящие пароходы, потом шел обратно, энергично постукивая палочкой по каменистой тропке, ведущей к дому.

Жена и оба старших сына умерли, остался младший – Василий. Хотя и учил его Никифор, – понимал: теперь нельзя без этого, – но не любил. Уж больно тих, смирен, безответен. Плавает третьим помощником на пассажирском пароходе, дослужится перед смертью до капитана – что толку!

– Ну как, Василий, – насмешничал Никифор над сыном, – все лижешь хозяйскую задницу?

– Так ведь служить надо, папаша, – почтительно отвечал Василий, – каждый человек, значит, на своем месте.

– Месте? Кто же тебе место указал? Бог? Государь император? Эх вы, люди! Кому служите-то, а? Отвечай!

– Обществу, значит, государству.

– Обществу? Государству? – притворно удивлялся старик. – Так вы его давно по амбрам растащили, государство-то.

Мелко и сильно постукивал маленьким кулачком по столу:

– Думать надо: для чего на свете живете, живите для чего? Спать в тепле, жрать сладко? Так и сверчок за печку лезет, и муха на сахар ползет... Человек все может, а его по рукам, по ногам... Человеку голова дана. Понимаешь? Го-ло-ва! А вы в нее псалтырь

вколотили, а самого заместо лошади. Жизнь на хозяйские получки поделили! От субботы до субботы.

– Что ж теперь делать, папаша? – Василий томился разговором с отцом. – Так уж, видно, назначено.

– Назначено! – передразнивал старик. – Дурак ты!

В жены Василию Никифор сосватал шестнадцатилетнюю дочь капитана Мореходова – Екатерину, красивейшую девушку поселка. Хотя не любил старик Мореходовых, новой поросли сорняк, и не по нутру ему было сватовство, – будь Василий молодец, сам бы девку себе добыл, – но ничего не поделаешь: своя кровь. А там пусть смотрит: будет ему костыль или костылем по затылку.

Сосватать сосватал, а на свадьбе учинил скандал: напился пьяным и бросился на свата с палкой. Пришлось Василию с товарищами его связать, хоть и материл его отец из бога в душу, проклинал и грозился убить.

Не по-людски жил человек, не по-людски и умер. Как стал чувствовать смерть, приказал раскрыть все окна-двери и все прислушивался к пароходным гудкам, угадывал, чей такой пароход идет. Дело осеннее, у Екатерины ребенок грудной, плакала она от злости, только ни слова не сказала: хоть и с норовом была, а свекра боялась. Всю ночь чего-то бормотал старик, прислушиваясь к реке, а утром подошла к нему Екатерина, а он мертвый. Вытянулся, борода задралась, пальцы вцепились в одеяло, лицо судорогой свело, точно кто приходил ночью и душил его, старого.

Глава вторая

Когда Василий приехал, отца уже схоронили. Да и отпустили Василия всего на два дня. Надо было возвращаться на судно.

К тому времени Василий стал уже капитаном. Плавал на судах «Купеческого пароходства», все больше по местным перевозкам, на коротких расстояниях, с заходом почти во все прибрежные селения. Когда пароходство ликвидировалось, перешел в общество «Волга», принадлежавшее крупным нижегородским купцам и промышленникам. Хозяева ценили его за трезвость, команда уважала за тихий, справедливый нрав.

Жизнь его из года в год текла спокойно и размеренно. Летом в плавании, зимой в Жуковском затоне, что против Кадниц, на той стороне Волги, все равно что дома. Нелегко было каждый день зимой отмеривать через реку четыре версты туда да четыре обратно. Василий был хоть не высок, но тучен, со временем стал страдать ревматизмом и одышкой. Но он ходил: привык к дому, к семье, любил жену.

Екатерина Артамоновна – женщина домовитая, не в пример другим кадницким женам не плавала с мужем: вела хозяйство, воспитывала детей. Дом ее был из самых больших в поселке – любила пристраивать и расширять его. Он стоял на косогоре; первый этаж, выложенный из красного кирпича, казался с одного края полуподвалом, на котором несколько неуклюже громоздился второй этаж – продолговатый оштукатуренный сруб с резными наличниками и ставнями. Наружная дверь, выкрашенная в ярко-желтую краску, всегда была заколочена – в дом входили через крытый двор. Шаткая лестница вела наверх, в две парадные комнаты, всегда полутемные: окна были затянуты черными железными сетками от комаров. Только белел кафель громадной, во весь простенок печи, да поблескивали на стенах стекла многочисленных фотографий, в большинстве групповые: команды судов и классы речных училищ. В первом этаже размещались кухня, кладовые и несколько маленьких комнат. В них и жили.

В 1916 году от болезни сердца скончался Василий Никифорович. Екатерина Артамоновна осталась вдовой на сороковом году жизни с пятью детьми-погодками: старшему, Ивану, двадцать три года, младшему, Семену, семнадцать.

Долголетняя привычка самостоятельно управлять домом развила в Екатерине Артамоновне деспотические черты характера. Умная, деятельная, насмешливая, она держала семью в крепких руках, не терпела возражений, все делала по-своему.

Она выдала замуж трех дочерей. Младший сын, Семен, жил при доме. И с некоторым, хотя и затаенным чувством тревоги ожидала возвращения старшего сына, Ивана. С четырнадцатого года служил он в военном флоте, затем до двадцать первого года – у красных, в Волжской военной флотилии. Всех-то теперь жизнь раскидала в разные стороны. Не разберешь, кто правый, кто виноватый. А Иван служит по мобилизации, в партию не записан, придет домой, женится и будет жить так, как жил его отец, той именно жизнью, которую представляла себе Екатерина Артамоновна как настоящую и единственную.

Вернулся Иван домой. Мать приискала ему невесту. Но Иван жениться отказался, хотя девушка была всем хороша; красивая, хозяйственная, из хорошей кадницкой семьи. То, что сын, который всегда был самым тихим и послушным из всех детей, сопротивлялся ее воле, не удивило Екатерину Артамоновну. Сбылись ее тайные опасения, перевернулась жизнь наизнанку, тянет за собой и ее дом, крушит, ломает все.

Но людям она в этом не хотела признаться.

– Чужой, не родственник, – говорила она про Ивана, – набаловался, поди, в разных портах с гулящими девками, вот и страшна ему семья-то.

Иван был в мать: высок, худощав, с несколько мелковатыми, но правильными и красивыми чертами смуглого, обветренного лица. Синие точки порохового ожога придавали этому солдатскому лицу мужественность и суровость. Но уравновешенным характером и немногословием походил на отца.

– Ведь настоящего человека тебе нашла, – уговаривала его Екатерина Артамоновна. – Сам-то ты овца, чистая овца, первая же девка тебя окрутит. Помяни мое слово.

Вышло не так, как предсказывала Екатерина Артамоновна, но и не так, как, должно быть, ожидал сам Иван.

В 1921 году, во время голода в Поволжье, он плывал старшим рулевым на пароходе «Урицкий». На корме, в толпе беженцев, сидела крестьянская девушка в лаптях, толстых онучах и рваном полушубке. Хотя Иван вдоволь нагляделся на голодных людей, измученный и несчастный вид этой девушки тронул его. Она была одна, ни с кем не разговаривала. Когда Иван прошел мимо нее, она подняла глаза и посмотрела на него далеким, отчужденным и разрывающим сердце взглядом, каким смотрят на людей умирающие животные.

С сердечной грубоватостью солдата он положил ей на колени кусок хлеба и воблу, свой суточный паек.

– Ешь давай!

Потом он заговорил с ней. Без родных, без знакомых, она ехала неизвестно куда.

– Все в деревне померли, – повторяла девушка, и по ее широкоскулому, как у мордовки, лицу пробегала судорога ужаса.

Ей было на вид лет семнадцать, и, несмотря на страшные меты, которые наложил на нее голод, в нежных очертаниях шеи, в измученных, но ясных глазах проглядывала беззащитная чистота.

Весь день Иван чувствовал на себе ее взгляд и понимал, что он для нее единственный человек, хотя бы потому, что никто больше не может помочь и посочувствовать ей здесь, где были люди, сами нуждающиеся в помощи и сочувствии.

Мысль о девушке, одиноко сидящей на темной корме, среди вздыхающих, стонущих, ворочающихся людей, не давала Ивану покоя. Этот человек, простым матросом ходивший с Маркиным на «Ване-коммунисте» против Колчака по Каме и Белой, участвовавший в наступлении на Царицын и затем, в двадцатом году, в составе десанта громивший англо-белогвардейские войска в Энзели, – этот мужественный и молчаливый человек вдруг почувствовал себя ответственным за жизнь и судьбу случайно встреченной им голодной незнакомой девушки.

С этим чувством поднялся Воронин на следующий день в рубку и принял вахту.

Начиналось тихое утро. Небо было чистое, только по одному его краю ползли редкие облака. В рубке продувал ветерок, но река была совершенно гладкой. Чуть зеленоватая вода блестела свежим серебром утреннего солнца, местами темнела пятнами разводьев. Далеко впереди берега двумя мысами подходили друг к другу, образуя узкие ворота, окутанные редким туманом, поднимавшимся с дальних гор.

Воронин вглядывался в родные места. Пароход только что прошел Лысково. Сзади еще чернела на берегу лесная биржа, на противоположном берегу белели стены древнего Макарьевского монастыря. Но вот скрылись за поворотом реки и пристань и монастырь, и опять пошли луга, пески и кустарник слева, горы и лес справа. Привычная картина: створы, перевальные столбы, бакены, домишки бакенщиков, деревни, пристанёшки, лодки, сети, встречные пароходы и плоты... Мальчики с удочками в руках, в засученных штанах стоят по щиколотку в воде неподвижно, как маленькие черные столбики. По откосу движется подвода, лошадка идет, дергая головой, бодро помахивая хвостом. Уже появились слепни и мухи, они больно жалят, но лошади приятно идти по раннему холодку, и она, всю зиму жевавшая сено, уже чувствует запах молодой зеленой травы.

С детства знакомый, просторный и могучий волжский пейзаж. Чистый, ясный, пронизанный сияющим солнечным светом. Он не вязался с тем, что видел Иван несколько дней назад там, внизу, откуда вывозили они голодающих. Не соответствовал тому, что творилось сейчас на корме и палубах, где лежали полумертвые люди. Противоречил ощущению беспомощности, которое испытывал Воронин при мысли об этой девчонке. И у него возникло самое неожиданное, но у таких людей, как он, бесповоротное решение. Это было то мгновенное движение души, когда человек, подчиняясь только голосу совести, совершает нелепые на первый взгляд поступки. Когда пароход подошел к Кадницам, он отвел Настю (так звали девушку) в дом, к матери.

– Пусть поживет. На обратном рейсе заберу, – сказал он Екатерине Артамоновне и оставил ей деньги, какие имел, и паек, выпрошенный у боцмана за месяц вперед.

Раньше Екатерина Артамоновна не потерпела бы подобного своеволия, но после отказа Ивана жениться на присватанной ею невесте она с выражением насмешливой покорности относилась ко всему, что делал старший сын. Она говорила о нем и разговаривала с ним не иначе, как с иронически-испуганной улыбкой, зловещей на этом лице, каждая черта которого выражала властность и нетерпимость.

Она бросила на Настю быстрый взгляд. В нем смешались презрение к этой побирушке, злорадство по отношению к непокорному сыну и гордое сознание правильности собственных предсказаний. Потом насмешливо поклонилась Ивану и кротко произнесла:

– Слушаюсь, сынок-батюшка, слушаюсь, милостивый.

За Иваном захлопнулась дверь. Екатерина Артамоновна выпрямилась и несколько минут молча разглядывала Настю. Та стояла перед ней с безучастным видом человека, которого голод лишил даже способности пугаться.

– Доигрался парень...

Эти слова положили начало семейной драме, одной из тех, которые нередко разыгрываются под сенью мирных и безмятежных с виду домов.

Беспощадная к людям, которых она не любила, Екатерина Артамоновна сразу подмечала их слабые стороны и делала предметом своих злых насмешек. К Насте она прониклась неистребимым презрением и не замедлила превратить ее неразвитость, забитость в предмет своего упорного и жестокого издевательства.

Екатерина Артамоновна ничем не попрекала Настю, не сказала ей ни одного грубого слова. Но величала ее не иначе, как «пассажирка-барыня».

– Ну как, госпожа пассажирка-барыня, – обращалась она к Насте, – дала корове-то аль нет еще?

Когда все садились обедать, она, как бы не видя приткнувшуюся в углу Настю, обводила всех деланно-испуганным взглядом и спрашивала:

– А где же наша пассажирка-барыня? Что-то к столу не идут, не прогневались ли? – И потом, будто только заметив ее, облегченно вздыхала: – Ах, здесь! Ну и слава богу!

Если заходила соседка, она, бесцеремонно указывая на Настю, говорила:

– Вот и у нас новый человек в доме. Не знаю только, как звать по нынешнему-то времени: жена, невеста или любовница?.. Мы-то ведь люди темные, дальше Пьяной просеки от села не хаживали, а они («они» – это был Иван) по заграницам плавали, все насквозь прошли, все знают.

Мелочное издевательство было непонятно в Екатерине Артамоновне, женщине умной, рассудительной и по-своему справедливой. По-видимому, иногда она сама сознавала это. Тогда она оставляла Настю в покое, несколько дней не разговаривала с ней, не замечала, будто той и не существовало. Встречаясь с Настей, смотрела прямо, точно сквозь нее, отсутствующим взглядом. Но так продолжалось три-четыре дня, а затем она снова принималась за прежнее с еще большим ожесточением.

Какой бы трудной жизнью ни жили кадничане, они выделялись из общей массы полуголодных грузчиков, бурлаков и матросов купеческой Волги. Относительное материальное благополучие капитанских семей, грамотность, связи с торговым и промышленным миром Волги – все это проводило заметную грань между жителями Кадниц и окрестным населением, изнывавшим от малоземелья, податей и неурожаев. Это были мещане, живущие на селе и тем более проникнутые кастовыми, цеховыми предрассудками. В их власти и была Екатерина Артамоновна.

Революция сломала привычный уклад жизни, перевернула старые представления и понятия. Матрос из Голошубихи, ставший начальником госпароходства, или крестьянин-бедняк из Шавы в роли председателя уездного ревкома олицетворяли для Екатерины Артамоновны крушение старого мира больше, чем что-либо другое. Люди кругом тоже жили этим новым порядком. Что же, их дело! Но чем сильнее стучалась жизнь в ее дом, тем крепче запирала Екатерина Артамоновна двери. Для нее Настя по прежнему была голь, нищенка, ни кола ни двора, ни ложки ни плошки. Невесть откуда появилась эта «мордовка» и, кто знает, может стать такой же, как она, хозяйкой добра, накопленного ее собственными трудами. Она была уверена, что Настя, не вытерпев издевательств, сама уйдет. И в то же время хотела увидеть Ивана мужем этой деревенщины – пусть накажет себя за непослушание.

Но Насте некуда было уходить. Лучше такая жизнь, чем голод. Она понимала, что Воронин ее жалеет и что он единственный человек на свете, которого надо держаться. Может быть, он женится на ней?

Иван вернулся по окончании навигации домой, вовсе не думая о женитьбе. Но когда он увидел, как мать обращается с Настей, в нем пробудилось унаследованное от нее же упрямство, хотя и скрытое под внешней невозмутимостью.

– Хватит, помилостивились, – сказала ему Екатерина Артамоновна, – всех-то беженцев не перекормишь, да и самим жрать нечего. Отправляй свою кралю.

Иван молчал.

– Не было еще такого, чтобы у всех на глазах мамзелей содержать. Не купцы мы, не Кашины и не Бакшировы. Время не то, тебе не к лицу, хватит и с меня сраму на старости лет. Или отправляй, или женись, – добавила она с усмешкой.

Тогда он объявил, что женится на Насте.

– Женись, дело твое, не мне с ней жить, тебе, – спокойно ответила она тоном человека, заранее знавшего, что именно так и случится.

Невеселая была свадьба. Екатерина Артамоновна даже вина не пригубила. Сидела с окаменевшим лицом, на котором точно было написано: «Против я или не против, а долг свой исполняю. И свадьбу справила, и, почитай, полдома отделила, и белья постельного дала. Ведь не то что простыни – рубашки своей нет. Голь! Так что меня люди ничем попрекнуть не могут. А вот встанем из-за стола – и живите, голуби, как хотите. Я вас не знаю, и вы меня не знаете».

Так они и стали жить. Мать с младшим сыном Семеном – на одной половине, Иван с женой – на другой. Екатерина Артамоновна во дворе и то поставила заборчик: это, мол, ваше, а это мое.

Заборчик был ни к чему: через два месяца Иван отправился в плавание шкипером баржи и забрал с собой жену. Она проплавала с ним навигацию, зиму они прожили в затоне.

– Богато живут – с плота воду пьют, – насмешливо говорила Екатерина Артамоновна. – Ну да ничего, не научила мамка, так научит лямка.

Так, может быть, и не вернулся бы Иван в Кадницы. Но осенью 1923 года ночью, на барже, Настя почти за месяц до срока родила дочь.

Роды были тяжелые. Шторм рвал баржу с якорей. Ко всеобщему удивлению, и мать и дочь остались живы. Девочку назвали Екатериной, в честь бабушки. Пришлось вернуться в Кадницы.

Глава третья

Двумя годами позже родился Кирилл и еще через семь лет – Виктор.

Екатерина Артамоновна относилась к внукам хорошо, но ровно: сама имела пятерых детей, да, кроме этих трех внуков, было еще восемь. Но Катю она отличала среди всех, гордилась: почетное для потомственного речника выражение «под лодкой родилась» было применимо к внучке в буквальном его смысле. Кроме того, отец каждую навигацию брал девочку в плавание. К четырнадцати годам Катя избороздила с ним Волгу, Оку и Каму и знала их не хуже иного лоцмана, что вызывало у бабушки тайное восхищение: хоть она и считала себя потомственной речницей, но дальше Нижнего нигде не бывала.

Но все, что было ненавистно Екатерине Артамоновне в свекре Никифоре, а потом непонятно и необъяснимо в сыне Иване, теперь воплотилось в этой длинноногой девочке. Ее смуглое скуластое лицо поражало своими тонкими, чеканными чертами, а глаза – небольшие, серые – смотрели настороженно и испытующе.

Как и прадед и отец, в семье точно чужая. Дома и то ходит в своем красном галстуке – будто в гости пришла. Со школьниками на чужих огородах работает, помогает, а на свой и палкой не загонишь. Возилась с подбитой вороной, выхаживала, а к собственным курам или к корове и не подступится. Ночами напролет книжки читает, а письмо своим родным написать не допросишься. Зимой живет в деревне, лето с отцом на пароходе, команда – те же мужики, а говорит и одевается чисто, по-городскому. Конечно, и Кадницы уже не те. Поразъехался народ: кто в город, кто на другие реки – в Сибирь и Среднюю Азию. Раньше, бывало, летом в поселке пусто, а теперь наоборот – студенты приезжают на каникулы. Время-то, конечно, вперед идет, а все же должна девочка к дому приучаться, жизнь-то ей где придется жить?!

А все мать! Не смотрит за детьми, не воспитывает.

Но странно – при внучке Екатерина Артамоновна никогда не выговаривала невестке. Чувствовала Катин настороженный взгляд и сдерживала себя. А ну их к лешему! С сердцем говорила:

– Уж больно ты глазлива, Екатерина, смотришь, как жандарм какой. В душу человеку смотришь. И ни к чему это – кроме плохого ничего там нет хорошего.

– Жандарм здесь са-а-всем ни при чем, – медленно, растягивая слова, говорила Катя.

Четырнадцать лет девке, а голос хриповатый, как у молодого матроса. Самара, ну чистая Самара!

– Уж я-то знаю. Перевидала в своей жизни всякого, не беспокойся, – ворчала Екатерина Артамоновна единственно для того, чтобы последнее слово осталось за ней.

Катя внимательно смотрела на бабушку и, точно угадывая ее желание, молча отворачивалась. Будто делала снисхождение!

Как-то бабка спросила Катю:

– Какое ты обо мне понятие имеешь, скажи-ка.

– То есть?

– Как ты, одним словом, обо мне понимаешь?

– О тебе?

– А то о ком же! Как я, на твой вкус: хорошая или плохая?

Наморщив лоб, Катя некоторое время думала.

У Екатерины Артамоновны невольно замерло сердце: уж эта все скажет, не посоветится.

– Хорошая! – решительно, точно убеждая в этом саму себя, ответила Катя.

– И на том спасибо, – поджала губы старуха. – Уж какая есть...

Однажды примчался домой Кирилл, закричал:

– Катка на ту сторону поплыла! Уж не видно ее. Наверно, потонула...

– За мужиками бежать, – всполошилась Екатерина Артамоновна, – с баграми собирать, с лодками мужиков... Чего стоишь как столб? – с ненавистью закричала она на оцепеневшую Анастасию Степановну. – Распустила дочку!

Не успели они выскочить на улицу, как в дом вошла Катя, босая, с туфлями в руках и мокрыми волосами. Быстрым взглядом обвела смотревших на нее родных и, напевая, прошла в свою комнату.

Уже вечером, за ужином, бабушка сказала:

– На моем веку человек шесть так-то вот поплавали. Которых на другой день нашли, которых – через неделю.

Катя молчала.

– Раз на раз не приходится, – продолжала Екатерина Артамоновна. – Вот...

– Извини, бабушка, – перебила ее Катя и повернулась к матери: – Мама! Ты мне дай завтра два рубля, у нас на подарок учительнице собирают, у нее день рождения.

– Непочтительная ты, Екатерина, неуважительная, – с упреком сказала бабушка. Но когда через несколько дней Катя снова переплыла Волгу, бабушка ей уже ничего не сказала.

* * *

Бывали вечера, когда в доме, казалось, царил согласие: бабушка рассказывала о Волге.

Катя росла, как росли дети исконных волгарей. Едва научившись ходить, бесстрашно бегала по краю баржи, не боясь свалиться за борт, – в воде чувствовала себя так же уверенно, как таежный паренек на дереве или казаченок на лошади. Язык речников, все эти слова – чалка, кнехт, травить, яр, проран – усваивались вместе со словами «отец» и «мать». Навсегда остались в ее памяти бесчисленные города, деревни, перекаты, пристани, очертания берегов, избушки бакенщиков. Она выучилась грамоте, читая на бортах названия встречных судов. По ним же узнавала географию и историю своей страны: нет такого города, такого деятеля в России, имени которого не носило бы какое-нибудь волжское судно. Волга вошла в ее сердце вместе с запахами и ощущениями детства.

Обхватив ноги руками и уткнув голову в колени так, что на них падали ее длинные каштановые волосы, она сидела в маленькой бабушкиной каморке, на широком сундуке, обитом потемневшими от времени полосками железа.

Бабушка в короткой выпущенной кофте и широкой, неопределенного покроя юбке сидела на кровати с рукодельем в руках – вязала шерстяные носки в подарок сыновьям и внукам. Чуть глуховатая, она говорила громче, чем нужно, с видимым удовольствием прислушиваясь к звукам собственного голоса.

Вся в прошлом, она постепенно создала себе кумир в образе покойного мужа, приписывая этому тихому человеку добродетели, которых, кстати сказать, при жизни не замечала.

– Строгий был, нравный, – говорила она, и лицо ее принимало благолепное выражение. – Не любил бабский персонал на судне. Другим не позволял и себе тоже. Вот и не пришлось мне свет-то повидать.

И, говоря так, она действительно верила, что всю жизнь прожила по указке мужа и чувствовала над собой его сильную руку.

Но Кате неинтересно было слушать про деда Василия. Он представлялся ей серым, скучным, строгим, как те капитаны на пассажирских судах, которые появляются в рубке, а затем исчезают, молчаливые, равнодушные, подтянутые.

Зато тот, другой, прадед Никифор, возникал перед ней быстрый, колючий, весь в ярких красках, с черной бородой, в кумачовой рубаше, похожий на Степана Разина, портрет которого она видела в книге.

– Разбойник был, – убежденно говорила про него бабушка. И Катю удивляло, что слово «разбойник» она произносит так же, как сказала бы: плотник, маляр, кузнец.

– Разбойник, непутевый. Первый на Волге лоцман, а талант свой в землю зарыл, одним словом... Деда твоего все допрашивал: для чего, мол, люди на свете живут? Все правды доискивался. А кто ее, правду-то, сыскал?

Она поджимала губы. Но Катя улавливала на ее лице тень растерянности и недоумения, точно бабушка сама хотела узнать то, что не пришлось узнать деду Никифору.

Катя искала слова, чтобы объяснить бабушке, для чего люди живут, но не находила таких слов и говорила то, что привыкла говорить в школе и на пионерском сборе:

– Люди живут на свете для того, чтобы быть полезными обществу.

– Польза пользой, а счастье-то всякому подай... – отвечала бабушка. – А в чем оно, счастье-то? Раньше людям счастье было в богатстве. Каждый к этому стремился, к богатству, значит, для того работали, тужились. А нынче вон куда богатых-то позаслали, и не сыщешь. Вот и спрашивается: для чего люди будут работать? Хлеба ради? Так иной кусок слаще, иной горше. А ежели все время крылья обрезать, так все и остановится.

– Остановится? А как же новые заводы-гиганты, стройки, как колхозы и совхозы и вообще все? Вот в Горьком новый автозавод, в Сталинграде – тракторный. Мы с папой пройдем первым рейсом по Волге – и всегда увидим новое.

– На заводах новых я не бывала, – поджимала губы Екатерина Артамонова, – и сказать не могу. А насчет колхозов, так вот он, Голошубинский-то, рядом. Хватает, слава те господи, беспорядков.

– Если бы ты знала цифры, то не говорила бы так! Сейчас наша страна производит всех продуктов в пять раз больше, чем при царском строе.

Некоторое время Екатерина Артамоновна молча шевелила спицами, потом, опустив вязанье на колени, говорила:

– Так ведь я, Катюша, жизнь на одном месте прожила. А Россия-то – она вон какая! Ведь как в старину говорили: что ни город, то нор, что ни деревня, то обычай. А про наших нижегородских так: нижегород – либо вор, либо мот, либо пьяница, либо жена гулявица.

И смеялась, мелко трясясь дородным телом, вытирая платочком выступившие на глазах слезы.

Но слушать ее рассказы о далеких временах, о волжской старине Катя любила. Реальный мир Волги в рассказах бабушки был подернут фантастической дымкой, мешался с легендами, побасенками, преданиями о бурлаках, купцах, лоцманах, которые она хранила в своей цепкой памяти. Катя, сама великолепно знавшая Волгу, для своих лет начитанная и развитая, никогда не поправляла бабушку, не хотела нарушать спокойное и пленительное течение ее речи.

В зимние вечера, когда занесенные снегом Кадницы казались отрезанными от всего мира, в душе Кати с особой силой пробуждалась тоска по Волге, по знакомым запахам воды, тумана, сырой древесины на плотках.

В преддверии весны, когда на реке уже твердел и оседал снег и на черной ледяной, ведущей к затону дорожке показывалась первая полынья, Катей овладевала тоска.

Бабушка чутко угадывала Катино настроение и в тревоге кружила по дому, не решаясь зайти к Кате, только тихо, чтобы та не слышала, шипела на Анастасию Степановну:

– Вам и дела нет. Заблагит девка, потом поздно будет.

Катя сидела одна и смотрела на реку, на горизонт, на облака. Ей чудились нежно-голубое ледяное поле, снеговые острова, голубые просторы Ледовитого океана, нарты с соба-

ками, олени упряжки, чумы и юрты, затертые во льдах неведомые корабли с обледенелыми мачтами.

Она закрывала глаза, потом снова открывала их и видела город с высокими домами, куполами церквей, причудливыми башнями, рыцарями в шлемах и серебряных латах, с длинными пиками и широкими мечами.

Потом эта картина сменялась другой: поезда, пароходы, излучины рек, фабричные трубы, непроходимые леса и горы – все то, что видела она в своих долгих странствиях по Волге или что представляла себе, сидя на корме или в рубке и глядя на уплывающие берега.

Кате было жаль мать, угнетало сознание своего бессилия. Часто, лежа ночью в постели, она мысленно разговаривала с бабушкой, мечтая, что ее слова подействуют и все в доме станет хорошо. Но наступал день, и Катя не находила повода для разговора. Бабушка издевалась над матерью так тонко, что Кате не к чему было придраться. Она была еще слишком мала, чтобы во всем разобраться и найти нужные слова, тем более что бабушка держалась с ней так, словно Катя сама должна понимать ничтожество своей матери. В ее улыбке было что-то неприятно-сообщническое.

Однажды Катя шла из школы. На Волге тронулся лед, и у Кати было то оживленное настроение, которое всегда овладевало ею весной на пороге каникул, навигации и плавания с отцом.

Размахивая сумкой с книгами, Катя вбежала в кухню и увидела мать. Она сидела за кухонным столиком, подперев голову рукой, и по ее широкому, скуластому лицу текли слезы.

В углу маленький Виктор молча тарасил на мать любопытные глаза.

Кате сделалось и больно, и страшно, и стыдно за все, что происходит в их доме.

– Мама, ну что ты, мама? – говорила она, трогая мать за плечо. – Ну, что случилось?

– Опостытело все, опостытело, – точно про себя бормотала Анастасия Степановна. – Господи, за что? Пятнадцать лет... Что ни сделай, все не так. Что ни сделай...

Катя выбежала из дому. Бабушка работала в огороде. У Кати замерло сердце. Нелегко ребенку начать объяснение со взрослым. Тем более если этот человек с детства внушал страх и почтение.

– Бабушка, ты долго будешь маму обижать?!

Екатерина Артамоновна обернулась и, выпрямившись, несколько минут молча смотрела на Катю. Но Катя выдержала этот взгляд. Теперь, когда она высказала слова, которые долго не могла произнести, ей стало легко, как и тогда, когда, переплыв середину Волги, она отчетливо увидела на противоположном берегу кустарник и поняла, что наверняка доплывет.

Опираясь на лопату, Екатерина Артамоновна смотрела на Катю. Таким Катя никогда не видела ее лица: серое, замкнутое, чужое. И взгляд был полон презрения и укора, точно Катя жестоко обманула ее доверие и любовь.

Махнув рукой, бабушка сказала только одно слово: «Иди!» – и отвернулась.

* * *

С того дня еще тяжелее стало в доме. Екатерина Артамоновна ни с кем из домашних не разговаривала, на Катю и вовсе не смотрела. Мать окончательно растерялась. Только коренастый белобрысый Кирилл, похожий на мать, жил неутомимой жизнью сильного, драчливого двенадцатилетнего мальчика да маленький Виктор, худенький и бледный, бродил по комнатам.

Все эти годы Иван Воронин мало бывал дома: с апреля по октябрь – в плавании, зимой – в затонах. Он знал, что в семье неладно – жена запугана, дети ее не слушаются, бабушка исподволь воспитывает в них неуважение к матери. Надо было уезжать из Кадниц. Но он не

знал, как быть с Екатериной Артамоновной: оставлять ее на старости лет одну – нехорошо, взять с собой в город – значит, опять все по-прежнему.

Так много лет не мог Иван ничего решить.

Когда Катя окончила семилетку, он понял – дальше тянуть нельзя. Надо дочери продолжать учение. Пора устраиваться с семьей в городе.

Он сказал об этом матери.

Екатерина Артамоновна пристально посмотрела на сына и отвернулась.

– Куда дом-то брошу? – сказала она. – Да и Нижний не за горами. Езжайте, свидимся.

Летом 1938 года Воронин с семьей переехал в Горький.

Глава четвертая

Воронин, теперь капитаном буксирного парохода «Амур», водил по Волге баржи. Катя каждую навигацию плавала с ним. Однажды – было лето 1940 года – она сказала отцу:

– Папа, ты позволишь мне взять с собою мою подругу, Соню Щапову?

На морщинистом, обветренном, но по-прежнему чеканном лице отца, усеянном синими точками порохового ожога, появилось отсутствующее выражение.

– Можно бы, да знаешь, как... Посторонние люди на судне.

– Я на будущий год не поеду, так что взамен.

– Посмотрим, – сказал отец.

– Нет, папа, ты мне ответь сейчас. Я должна сказать Соне определенно. Да – да, нет – нет!

* * *

Девочки явились на пароход вечером. Катя – загорелая, скуластая, Соня – невысокая блондинка с обращенной ко всему миру приветливой, стеснительной улыбкой.

Огромный диск заходящего солнца отражался в реке чешуйчатым огненным столбом. По реке тянулись караваны, снизу – баржи с нефтью, сверху – плоты. У речных вокзалов дымили нарядные пассажирские пароходы. Сновали катера, баркасы, проносились спортивные лодки, длинные и узкие, с такими же длинными и узкими веслами, ритмично мелькавшими в воздухе.

На стрелке, в том месте, где Ока сливается с Волгой, темнел осередок – маленький голый островок.

За рекой в вечерней дымке расстилались необозримые луга с редкими конусообразными стогами сена. Полоски лесных насаждений, узкие, неестественно аккуратные, точно нарисованные в школьном учебнике, обозначали дороги. Над фабричными трубами, высокими, тонкими, неожиданно вставшими на ровном поле, висели в воздухе клубы черного дыма.

Предвечерний туман уже скрадывал детали картины, но вся она еще блестела и переливалась в ослепительном золоте заката.

Катя обежала судно. Все, как и в прошлом году. Хлопочет команда, готовится к отвалу. На корме сидят и разговаривают женщины, сушится на веревках белье, бегают дети, из камбуза доносится вкусный запах борща и гречневой каши. Кок Елизавета Петровна так же плавно несет свое дородное, гибкое тело. Она босиком. У нее стройные ноги казачки с крепкими загорелыми икрами. Она улыбается Кате, обнажая два ряда белых блестящих зубов.

– Здравствуйте, Елизавета Петровна, – сухо отвечает Катя и идет дальше. Она не любит Елизавету Петровну.

Хлопочет и суетится первый штурман Сазонов, маленький, белобрысый, вечно озабоченный человек.

– Что хорошего, Александр Антоныч? – спрашивает его Катя.

– А что хорошего? – отвечает Сазонов. – Дождей нет, воды нет, будем раков давить.

И он жалуется на команду – понабрали кого попало, такой бестолковый народ, – и на пароходство: дали некомплектное обмундирование, брюки есть, фланелек нет, и отчетность усложнили, только и пишешь бумажки да составляешь отчеты, и в портах простои и безобразия.

Катя ищет своего приятеля, рулевого Илюхина, и находит его в кубрике. Он чинит ботинок. Сгорбленный человек лет под шестьдесят, с седоватыми усами. Сколько помнила себя Катя, Илюхин всегда плавал с отцом. Иногда на тихом, безопасном плесе давал Кате штурвал.

– Я к тебе завтра, Иван Иванович, приду на вахту, – дипломатично сказала она.

– Чего же, приходи, – ответил Илюхин, продолжая починять ботинок. – Только вот вахтенный новый.

– Кто?

В прошлом году Илюхин стоял вместе с первым штурманом Сазоновым. Сазонов разрешал давать Кате штурвал: она помогала ему составлять отчеты. Если Илюхин несет теперь вахту с отцом, то все пропало: отец никогда не пустит ее к рулю.

– Второй штурман новенький, – сказал Илюхин, обрывая зубами нитку.

– Как его фамилия?

– Сутырин Сергей Игнатьевич.

– Сергей Игнатьевич, – машинально повторила Катя.

Новый человек, кто его знает, может быть, и в рубку не пустит.

Они с Соней легли спать в каюте отца. К знакомому запаху табака, мокрого от дождя шинельного сукна и свежестыранного белья примешивался теперь запах выкрашенного дерева, который бывает на судне после ремонта. И Кате приятно на узкой жесткой койке под тонким, покусывающим тело шерстяным одеялом.

– Завтра увидишь настоящую Волгу, – сказала она.

– А здесь разве не настоящая? – удивилась Соня.

– Здесь тоже Волга, но там совсем другое. Там в три раза шире. А перед Куйбышевом начнутся Жигули – это так красиво, ты даже не представляешь себе. Перед Саратовом пойдут степи и совсем дикие берега.

– У тебя отец какой строгий, – сказала Соня, – я даже не думала. И все его бояться. Только и слышишь: «Капитан сказал...»

– У него характер обыкновенный, но он капитан! Если он чем-нибудь подорвет свой авторитет, то никакой дисциплины не будет.

Судно вздрогнуло. Затарахтела машина. На палубе раздались торопливые шаги и громкая команда: «Убрать носовую, убрать кормовую!»

– Отвал! – Катя поднялась на постели. – Соня, отвал! Одевайся быстро, выйдем.

– Ну куда? Я не пойду, – сонно проговорила Соня. Пароход еще раз вздрогнул, машина заработала сильнее, раздался долгий гудок, послышались удары плиц по воде, огни берега за окном стали медленно уходить в сторону. Судно шло на поворот.

– Опоздала, – с огорчением проговорила Катя, – и все из-за тебя. Вот уж действительно соня!

Соня ничего не ответила. Спала.

Утром Катя дождалась, пока заснул вернувшийся с вахты отец, оделась, вышла из каюты и поднялась в рубку.

Пароход спускался по течению. Мимо проплывали знакомые берега, деревни, пристаньшки, брандвахты путейцев.

На вахте рулевой Илюхин и незнакомый Кате второй штурман. Катя молча, с обдуманной заранее независимостью, кивнула ему и, обращаясь к Илюхину, сказала с подчеркнутой сердечностью:

– Здравствуйте, Иван Иванович, доброе утро!

– Здравствуй, здравствуй, – не оборачиваясь, ответил Илюхин. – Вот, Сергей Игнатьевич, познакомься: капитанова дочка.

– Как же, знаю, – с неожиданным смущением проговорил Сутырин. – Знаю.

Протягивая руку, Катя внимательно посмотрела на него. Высокий, полный, несмотря на свои двадцать пять лет, человек, медлительный, неуклюжий. В его широких плечах, стянутых узким черным кителем, чувствовалась могучая, добрая и спокойная сила. Толстое, добродушное лицо лишь с первого взгляда казалось пожилым. Волосы росли только на верхней губе и подбородке, а щеки были чистые. Сутырин снял фуражку, и Катя увидела коротко, под машинку остриженную большую мальчишескую голову, посаженную на короткую, под детски полную и белую шею.

– Как же, говорили...

Его облик и манеры напомнили Кате ветлужских плотовщиков, больших и сильных людей с неуклюжей, но спорой повадкой, протяжными песнями, добродушием и неожиданной злостью. Она решительно, без обиняков, спросила:

– Штурвал дадите?

– Как это так – штурвал? – озадаченно переспросил Сутырин.

По-прежнему не оборачиваясь, Илюхин сказал:

– В прошлом году Екатерина Ивановна практиковала. Плес знает и штурвал держит. Вот, может, отвыкла вовсе.

– Я не отвыкла, – сказала Катя.

Морщины на лбу Сутырина разошлись, лицо сразу помолодело.

– Ну что ж, – улыбнулся он, – посмотрим, какой вы судоводитель.

Пароход продолжал свой быстрый и уверенный ход.

Фадеевы горы, Бармино, Фокино...

На берегу купаются ребяташки: девочки – ухватившись за канат якоря, мальчики – заплывая почти до середины реки, смешно взмахивают тонкими руками.

Коровы, спасаясь от жары, стоят в воде, лениво отмахиваются хвостами от мух и слепней. Землечерпалки страшно скрипят, их черпаки, совершая свой мерный круг, поблескивают на солнце. Когда пароход проходит мимо пристани, на стоящих там мелких суденышках тревожно звонят, просят убавить ход: суда слабо учалены, волной их может оторвать.

– Нет у нас расписания сбавлять для всех ход, – ворчит Илюхин.

Но Сутырин говорит в трубку: «Тихай!..» Из трубки доносится ответ механика: «Тихай...» Машина работает медленнее, плицы реже стучат по воде.

Пароход минует пристань и снова набирает скорость. Рядом с ним движется по воде радуга от брызг колеса. Ветер белыми барашками пробегает по воде. Огромные песчаные косы, словно куски пустынь, вдаются в реку. Впереди – землесос с длинными черными змеевидными трубами, по ним отсосанный песок перемывается на новое место.

– Машинка работает, а мелко, – говорит Илюхин.

– Да, уж сто восемьдесят, – деловито отвечает Катя, всматриваясь в отметки. – Если такая жара постоит, то все!

– Ты давай того... – говорит Илюхин и кашляет. – Ты давай того... на дорожку посматривай.

Катя смотрит вперед, руки ее на штурвале. Илюхин изредка и, как кажется Кате, тоже больше для порядка говорит:

– Не сваливайся, следи за управлением... Вон в яру куст, на него и держи... Влево не ходи, выбирай ход короче; вон зеленыя, на них и направляй... На створы не пойдем, срежем, укоротим путь... Держи, не мотайся... Теперь можно повалиться вправо... Переходи на красный бакен, там стрежень, нам выгоднее.

Кате кажется, что она только для виду слушает Илюхина. Она сама отлично знает, как вести судно. Не только по обстановке, по обстановке – это пустяк: бакены, створы, перевальные столбы, вывески с отметками глубины и ширины судового хода. Она знает десятки разных примет и правил, по которым опытный лоцман и без обстановки поведет судно. И Кате

больше ничего в жизни не надо, только стоять за штурвалом, чувствовать знакомое подрагивание судна, слушать давно известные, но каждый раз по особому приятные замечания старика Илюхина.

– Эй, на пароходе! Который час? – кричат колхозницы с берега.

– Час им скажи, – ворчит Илюхин. – Работать надо, а не время спрашивать.

Но Сутырин, добродушно улыбаясь, берет рупор и кричит:

– Половина десятого!

– Хлеба нынче замечательные, – говорит Илюхин. – Коня пусти в рожь – не увидишь.

И снова берега и берега. Над водой выются чайки – значит, здесь много рыбы.

– Самая лучшая стерлядь – сурская, – говорит Илюхин. – Еще бельскую хвалят. Только, по мне, лучше сурской нет.

Идет встречный пароход. Илюхин сам становится к управлению. Сутырин натягивает веревку гудка, дает продолжительный сигнал, берет белый флажок – отмашку, выходит на мостик и машет флажками встречному пароходу, показывая, с какого борта суда будут расходиться. У встречного парохода сначала показывается тонкая струя дыма, а потом уже слышен ответный гудок. На мостик тоже выбегает человек, дает отмашку. Фигурка его на мостике кажется совсем крошечной.

И Катя знает, что, как только встречный пароход пройдет, Илюхин и Сутырин еще долго будут говорить о нем, переберут всю его команду: и кто на нем сейчас капитаном, и кто плавал до него, и где этот пароход последний раз ремонтировался, и какими событиями вошел в изустную летопись реки. И если капитан хороший, то похвалят:

– Не он судна боится, его судно боится.

А если плохой, скажут презрительно:

– Осенью первый в затон.

Река делает резкий поворот в сторону, за ним виден еще поворот в другую сторону. Катя боится, что сейчас Илюхин опять отстранит ее от штурвала. Но он продолжает спокойно сидеть, и Катя уверенно ведет пароход по линии, которую она мысленно проложила от одного выступающего угла берега до другого.

– Выйдет из тебя рулевой, – говорит Илюхин.

– Будет женщина-капитан, – добродушно улыбается Сутырин.

Катя молчит, гордая этой похвалой.

А река все катит и катит свои синие волны. Плывут назад берега. Пароходы дают резкие, сначала все нарастающие, потом все стихающие гудки, и далекое эхо повторяет их.

Маленький баркас тянет дощаник. На палубе – домашний скарб, на носу – корова, на корме – женщина с ребятишками.

– Должно, бакенщик на новое место перебирается, – замечает Илюхин.

– Нет, – возражает Сутырин, – это из рыболовецкого колхоза, дощаник-то промысловый.

Вот и Козьмодемьянск. На рейде переформировываются плоты, спущенные с Ветлуги. На берегу высокие трубы лесопильных заводов.

И опять в рубке разговоры о плотях, об их буксировке, о глубинах, о каналах, о новых морях, которые должны появиться на Волге, и как будут тогда плавать, о начальстве, зарплате и премиальных, о простоях в портах. Катя слушает эти разговоры, тоже возмущается тем, что в портах медленно грузят суда и как это плохо и для государства и для команды, и те же мысли – почему начальство не изменит всего этого, только верит очковтирательским рапортам – приходят ей в голову, и ей кажется, что не было зимы, не было перерыва в навигации и вообще она всю жизнь только и плавает на «Амуре».

– Гляди-ка, – говорит Илюхин, показывая на новую избушку бакенщика, – бакенщик-то Захарыч в новой избе, и радио... А все сынишка! Сынишка у него в техникуме учится. И деревья посадил.

Катя смотрит на новую избу, и это событие ей тоже кажется очень значительным. Столько лет здесь стояла черная, ветхая избушка – и на тебе, построили новую.

На воде крупная рябь – «рубец». Начинается тяжелый каменистый пережат. Илюхин становится к штурвалу. Катя не обижается: если что случится, он может пойти под суд. Впереди буксир с тремя баржами, счаленными в один ряд – в три пыжа. Сутырин выходит на мостик, дает отмашку. Буксир не отвечает.

– Это он нарочно, – волнуется Катя, – хочет, чтобы мы сами решали. Вахтенный – перестраховщик.

– Есть такие, – ворчит Илюхин, – сам ползет и другим дороги не дает.

«Амур» дает сигнал за сигналом, но впереди идущий буксир не отвечает. Весь длинный пережат приходится плестись за ним. Когда наконец его обходят, Катя выбегает на мостик и кричит виднеющимся за стеклами рубки людям:

– Эй, где самолет обогнали?

И, приставив большой палец к виску, машет растопыренной ладонью, показывая вахтенным, что они лопоухие.

Глава пятая

Соня только первый день робела, а уже назавтра со всеми перезнакомилась. Ее привлекала не рубка, а корма, где играли дети, сидели и судачили возле камбуза женщины, жены штурманов и механиков, кок Елизавета Петровна, матрос Ксюша – квадратная девушка с грубым лицом и толстыми босыми ногами.

Отец Сони работал грузчиком в порту, мать – кладовщицей на автозаводе. Детей было шесть человек. Соня – старшая. Жили в перенаселенной коммунальной квартире, все в одной большой комнате. Соня много работала по дому. Катя втайне удивлялась ее стойкости и неиссякаемому веселью.

После школы Соня решила поступить на работу.

– Подыму маленьких, а потом опять пойду учиться, – улыбаясь, говорила она.

– Тогда уже будет поздно, все забудешь, – отвечала Катя и добавляла: – И замуж, конечно, выскочишь.

– Кто меня возьмет? – вздыхала Соня притворно. Была хорошенькой и знала это.

«Амур» подолгу стоял в портах. Катя и Соня бродили по улицам приволжских городов. Катя спешила показать самое интересное, ревниво присматривалась, нравится Соне или нет, точно делилась чем-то ей лично принадлежащим.

Милые сердцу маленькие пыльные городки с тихими, выложенными булыжником улицами, где на уютных деревянных домиках вдруг видишь таблички: «Заготзерно», «Сберкасса», «Дом колхозника»... Неизменный сквер на площади, где стоит бронзовый памятник Ленину – в скромном костюме, с галстуком, заправленным за старомодный жилет.

Громадные города с запахом горячего асфальта и сгоревшего бензина, гигантские массивы новых домов – уже занавески на окнах и ящики с цветами на решетчатых балконах, но на улицах еще нет тротуаров, и люди ходят по насыпям канав, вырытых для водопровода и канализации. Огромные четырехэтажные универсальные магазины из бетона и стекла – и рядом с ними низкие кирпичные стены гостиных дворов, где разложены на прилавках галантерейные товары, но пахнет столетним запахом купеческой москательи: веревками, овчинами, дегтем и олифой. Мемориальные доски на валах старинных укреплений и башнях кремлевских стен, колокольни церквей, минареты мечетей, срубы в деревнях Верхней Волги и белые мазанки Нижней. Места, названия которых овеяны поэзией русской истории: село Отважное, Молодецкий курган, утес Степана Разина, Караульный бугор, Ермаково, Кольцовка, Усово...

Но как ни интересны были блуждания по городам, хотелось плыть и плыть, смотреть на реку, на берега.

– А почему мы так долго стоим? – спрашивала Соня.

– Не готовы баржи к буксировке. Неорганизованность. Начальства много, а толку мало. – Катя повторяла слова, слышанные от других.

Еще мало разбираясь в причинах этих простоев, она, как и все речники, ненавидела их люто. Простой снижают заработок, из-за них судно не выполняет плана, отстает в соревновании с другими судами.

Приближалась Казань. Реже стали леса. Вдоль берегов тянулись известковые карьеры и каменоломни. Виднелись дачные и рабочие поселки. Расположенная на невысоких холмах, Казань сияла и переливалась колокольнями и минаретами, поднимавшимися над пестрой массой домов.

В Казани пароход стоял десять дней: опять не были готовы баржи к буксировке.

Шли дожди. Они противно барабанили в стекла рубки. Вода на реке черно-стальная, серая, со сплошной рябью от быстро падающих капель. На небе черные с серым отливом

тучи. В глубине их иногда гремел гром и виднелись белые вертикальные молнии. Потом тучи становились иссиня-фиолетовыми и низко опускались на землю. Река вспыхивала красным, багряным цветом.

Кроме Сутырина, новенькими на пароходе были масленщик Женька Кулагин и матрос Барыкин.

Женька, парень лет двадцати, стройный, худощавый, с вьющимися волосами, опрятный и щеголеватый, только год как вышел из тюрьмы, где сидел не то за хулиганство, не то за кражу.

Бойкий и говорливый, он становился вдруг угрюм и неподвижен. Тогда его мрачное лицо, опущенные плечи и насупленный взгляд изобличали состояние тяжелой подавленности. В такие минуты к нему боялись подходить.

В свободные от вахты вечера он пел на палубе песни, а иногда часами лежал на койке, уткнувшись лицом в подушку, и ни с кем не разговаривал. Он лучше всех на судне играл в шахматы, но мог на середине игры без всякой к тому причины смешать или свалить на пол фигуры. Своими насмешками он доводил человека до драки, а через час делился с ним продуктами или отдавал ему тельняшку.

Особенно издевался он над молодым матросом Барыкиным, новичком, первую навигацию плававшим на судне, неповоротливым парнем из глухой заволжской деревни, с глуповатой ухмылкой на лице, которой он как бы говорил: «Не такой уж я дурак, каким вы меня считаете». Давно не стриженные волосы космами выбивались из-под фуражки, которая хотя и была форменной, но на Барыкине как-то сразу смялась и приняла вид деревенского картуза.

При виде Барыкина на лице у Женьки появлялось хищное выражение, карие, обрамленные синей тенью глаза разгорались.

В первый же день, когда Барыкин появился на судне, Женька с тем деловым видом, который умел принимать, когда ему это нужно было, сказал:

– Возьми, Барыкин, лопату, стань на нос и разгоняй туман. Рулевому ничего не видно. Быстро! Капитан приказал!

Барыкин схватил лопату, встал на нос и начал изо всех сил размахивать ею, к великой потехе всей команды. Капитан сделал Женьке внушение, но оно не помогло. И странное дело – как только Женька обращался к Барыкину, у того появлялась на лице недоверчивая ухмылка, обозначающая «меня не проведешь», но в конце концов он делал то, что приказывал ему Женька: чистил кирпичом якорь, давал отмашкудвигающемуся по берегу паровозу, бегал в котельную с мешком за паром.

Катю поражали жестокость, которую проявлял при этом Женька, утонченная издевка, безжалостная и отталкивающая.

Однажды она сказала ему:

– Вы, наверно, думаете, что это смешно, а это глупо.

– Дураков учить надо, – ответил Женька и, потемнев лицом, добавил: – А вы хоть и капитанова дочка, не в свое дело не вмешивайтесь.

После этого он старался издеваться над Барыкиным в присутствии Кати и с вызовом на нее поглядывал.

Женьке с его удачливостью смелого, беззастенчивого и наглого парня все сходило с рук. «Я вам не Барыкин», – говорил он. На боцмана он не обращал внимания, первого штурмана слушал для виду. Считался только с капитаном и с механиком, своим начальником. Но и здесь был особый оттенок, точно он говорил: «Поскольку я уважаю тебя, ты должен уважать и меня». За послушание требовал особого отношения к себе, будто делал милость начальству.

В Москве у него была старуха мать, на Дальнем Востоке – брат, полковник. Но Женька редко говорил о своих родных.

– В Москву мне нельзя – не пропишут. А к брату зачем же? Он полковник, член партии, а тут брат из каталажки... – И усмехался зло и отчужденно.

– Отпетый, – говорил про него Илюхин.

– Да ведь как сказать... – качал головой Сутырин. – Нервный он, неуравновешенный. Дома своего нет, скитается. Людей надо жалеть.

– Всегда вы, Сергей Игнатьевич, всех защищаете! – возмущалась Катя. – Почему он других задевает, чего привязался к Барыкину?

– Обычай такой. Я сам мальчишкой через это прошел. Традиция. Плохая, конечно, традиция, а страшного ничего нет. Злее будет Барыкин.

И он смеялся, вспоминая, как Барыкин лопатой разгонял туман.

– Знаете, Сергей Игнатьевич, – сказала Катя, – вы мягкотелый какой-то. Кулагин издевается над человеком, а вам безразлично. – И, посмотрев на Сутырина, с неожиданной жесткостью добавила: – Вы сами, наверное, его боитесь.

Он засмеялся:

– Так уж и боюсь...

– Если бы на ваших глазах убивали человека, вы бы тоже, наверно, не ввязались. Прошли бы мимо.

– Уж вы скажете! – улыбнулся Сутырин. – Кулагин-то ведь никого не убивает. Я думал, из вас капитан выйдет, а теперь вижу: педагог.

Катя насупилась.

– Кто бы из меня ни вышел, я ничего не буду замазывать.

Глава шестая

Катя твердо усвоила правило: никогда не говорить с отцом о команде, это могло бы выглядеть наущничеством. Не говорила с ним и о Женьке. Но самому Женьке при любом случае высказывала свое отношение, тем более что, как оказалось, Женька влюбился в Соню.

Сначала Катя не понимала ни смущения Сони, ни того, что в ее присутствии Женька становился то неожиданно тихим и задумчивым, то, наоборот, шумел и рисовался больше обычного. Но потом поняла и насмешливо спросила:

– Нравится он тебе?

– Что ты? – покраснела Соня. – Я его боюсь. И мне его немного жалко.

Все возмутилось в Кате. Она взяла Соню в плавание и отвечает за нее. И мало ли чего можно ожидать от Женьки, в голове у этого человека не может быть ничего, кроме грязных мыслей.

Пароход прошел Тетюши, Майну и подходил к Ульяновску. Огромный, двухкилометровый железнодорожный мост висел над рекой. Длинные плоты тянулись по реке, деревянные избушки на них казались крошечными. Катя и Соня стояли на носу, неподалеку сидел Женька. Катя объясняла Соне, как надо вести судно по реке.

– Сверху надо идти посредине реки, по стрежню, – смуглой, загорелой рукой она показывала, где проходит стрежень. – Там течение сильнее, и оно помогает движению. А вот снизу наоборот: ближе к берегам, тиховодами, там встречное течение слабее. Понимаешь?

– Понимаю, – кивнула Соня. Но Катя перехватила брошенный ею на Кулагина настороженный взгляд.

– Теперь так, – громко, чтобы отвлечь внимание Сони от Женьки, продолжала Катя, – если берег крутой – то он ходовой, глубокий, можно идти. А вот если песок заструженный, выдается в воду мысами – ходу нет, мелко. И чем мельче, тем больше дрожит судно.

Соня схватила Катю за руку.

– Смотри, смотри, кошка!

На крутом берегу в бесчисленных круглых ячейках гнездились стрижи. Они беспокойно металась, оглашая окрестность тревожным щебетом, – невесть откуда появившаяся кошка шныряла взад и вперед, пытаясь вытащить из гнезд притаившихся там птенцов.

– Ах, как жалко! – Соня прижала руки к груди. – Поест она птичек! – И долго смотрела на уплывающий берег и на встревоженных птиц.

– Паршивая кошка! – сказала Катя. – Птенцов она не достанет, эти гнезда глубокие... А вот смотри – видишь, вода быстро крутится? Это суводь, место опасное: здесь судно может потерять управление, надо идти быстро. Такая суводь бывает обычно за большими горами.

– Не только за горами, – сказал вдруг Женька.

Катя повернулась к нему.

– А вас, Кулагин, никто не спрашивает.

Женька озадаченно посмотрел на Катю и, наливаясь краской, дерзко сказал:

– А вы что за недотроги такие, с вами и поговорить нельзя? Садись бы на пассажирский пароход да и ехали.

– Это вас не касается, – ответила Катя. – Вы вообще всегда вмешиваетесь не в свое дело. Пойдем, Соня, отсюда, здесь мешают.

Весь день Катя чувствовала на себе тяжелый взгляд Кулагина, и тревога не покидала ее. Но эта была странная тревога. Ей хотелось, чтобы что-нибудь случилось. Она ждала от Женьки какого-то поступка и вся напряглась, готовая к отпору.

В Ульяновске стояли три дня. Солнце пекло, не хотелось тащиться до пляжа. Девочки купались тут же, возле судна.

Соня по лесенке спускалась в воду, а Катя, забравшись на самую высокую точку форштевня, прыгала оттуда, распластав в воздухе руки. Потом они вылезали и сидели на корме в мокрых купальных костюмах. Вода с их голых колен капала на быстро высыхающие доски палубы.

Рядом с Соней Катя походила на мальчишку – узкобедрая, длинноногая, с маленькой грудью и выпирающими ключицами.

Катя почувствовала чей-то тяжелый взгляд. В дверях стоял Женька. И хотя на корме сидели и другие матросы и мотористы, Женькино присутствие и тот взгляд, которым он смотрел на Соню, казались Кате оскорбительными.

Катя встала.

– Пойдем, Соня, на пляж. Здесь, видно, нам уже не дадут искупаться.

И они пошли, сопровождаемые тяжелым взглядом Кулагина.

В Ульяновске подошел срок выдачи заработной платы. Катя слышала короткие вопросы отца по ведомости, путанные ответы Сазонова. Потом отец сказал:

– Может, задержим выдачу до отвала? Ни за кого я не боюсь, только вот за Кулагина. Опять чего-то хмурый ходит. Выдать бы завтра, а ведомость сегодняшним числом оформить.

– А вдруг инспекция? В Ульяновске стоим, не на какой-нибудь пристанешке, – возразил осторожный Сазонов.

– Ладно, – нехотя согласился отец. – Только скажи Сутырину: пусть доглядит за ним.

Зарплату выдали. Но Сутырин недоглядел за Женькой. После отвала тот вышел на палубу пьяный, подошел к Соне и поманил ее пальцем:

– Соня, на одну минутку! Соня!

Соня растерянно смотрела на Катю.

– Не ходи! – громко сказала Катя.

– На одну минуточку, чего боишься? – повторил Кулагин. – Я только одно слово скажу.

– Идите в кубрик, Кулагин, и проспите, – сказала Катя.

Он точно не слышал ее и шагнул к Соне.

– Ведь как человека прошу: подойди на минутку.

Но когда он сделал этот шаг, Соня в страхе прижалась к Кате. Кулагин махнул рукой, повернулся и быстро пошел прочь...

И через минуту Катя почувствовала то смятие, которое возникает на пароходе при неожиданном происшествии, смятие, которое начинается еще прежде криков или сигналов бедствия... Она сразу поняла: «Женька!» – и оглянулась. На корме в последнюю секунду перед ней мелькнула в воздухе фигура человека, и тут же, в воде, но уже метрах в пятидесяти позади парохода показалась его голова. Катя вскочила, сорвала и бросила в воду спасательный круг. И вслед за кругом в воду метнулся Сутырин. Пароход остановился, с него спускали шлюпку. Женька плыл к берегу, течение сносило его, и он и Сутырин почти одновременно, тяжело дыша и отфыркиваясь, вышли на берег.

Поддерживаемый Сутыриным, Женька шел шатаясь. Пьяным, прерывающимся голосом бормотал:

– Сережа, оставь! За что? Все равно жизни нет, оставь!

– Успокойся, успокойся, – говорил Сутырин. – Ну чего ты, в самом деле?

«А для чего он, собственно, бросился в воду? – думала Катя. – Ведь топить он не собирался. Просто пьяная блажь». И никакой жалости к Женьке она не испытывала.

Тут же Женьку списали на берег.

– Нет у меня времени с тобой возиться, – сказал Воронин. – Расстанемся друзьями.

Женька стоял перед ним, опустив голову.

Перед тем как сойти в лодку, он оглянулся, ища глазами Соню. В руках у него был маленький узелок – все его вещи. Но Сони на палубе не было. Она сидела в каюте, плакала и боялась выходить.

Кате казалось, что все на пароходе недовольны ею, точно она виновата в том, что случилось с Женькой.

Пароход шел дальше. Так же несли вахту матросы, штурманы, рулевые. В машинном отделении двигались огромные блестящие шатуны, с шумом вращая коленчатый вал. Никто не говорил о Кулагине, но Кате казалось, что все осуждают ее. И она не знала: правильно она вела себя или неправильно?

Обхватив колени руками, Катя сидела вечером на палубе, невидимая за большой бухтой каната, и смотрела на реку.

Прошли Новодевичье. Далеко на горизонте встала чуть заметная полоска – Жигули. Их продолговатая гряда становилась все отчетливее. Волга круто поворачивала на восток.

Караульный бугор... Кабацкая гора... На зеленых склонах стоят нефтяные вышки, красные и белые баки нефтяных промыслов. Жигули в сплошном зеленом цвету, только белеют пятна оголенных утесов, причудливые очертания выветрившихся известняков. Тени деревьев переламываются в воде.

Все знакомое, привычное, беспредельно глубокое и щемящее сердце, как детство, как родной дом.

Солнце только что зашло. У берегов вода сине-голубая, а в середине реки идет широкой кирпично-красной полосой. Купол неба синий-синий. Ближе к краям он постепенно переходит в ярко-красные облака, как бы прослоенные черными линиями вдоль и красными лучами заката поперек.

Неужели из-за нее Кулагин бросился в воду? Он стоял перед ней со своим узелком, жалкий, подавленный, ищущий глазами Соню и не находящий ее. Куда он пойдет один в незнакомом городе? Почему, когда она говорит правду, люди обижаются на нее? Она вспомнила осуждающий взгляд бабушки тогда, на огороде.

... И теперь Женька! В чем она виновата?

Звук голосов, приглушенных стеклами рубки, по в вечерней тишине отчетливо слышных, донесся до нее. Она прислушалась. Разговаривали отец, Сутырин и Илюхин.

– Вот у меня дед, – говорил отец своим медленным, глуховатым голосом, – в свое время – лоцман!.. Тоже буян был. А почему? Лихость некуда было девать, потому и буянил.

– Буянство не лихость, – сказал Илюхин и зашелся знакомым Кате долгим, надрывистым кашлем.

– Полный! – крикнул Сутырин в трубку.

– Тоже в гражданскую лихие люди были, – снова сказал отец. – Так ведь Россию поднимали, переворачивали наизнанку. Помню, был у нас один такой лихач. Фуражку снесло, так он под пулями за ней поплыл. Кругом так и цокает, так и цокает, а он плывет... И ежели вдуматься, так его эта лихость – на пользу: свои бойцы смотрят, думают – ничего смелого человека не берет, – а белые тоже думают: если у красных такие бойцы, значит, плохо наше дело. И выходит: лихость – на пользу.

– И достал? – спросил Сутырин.

– Достал.

Илюхин снова закашлялся.

– В драке всегда так: богатый бережет рожу, а бедный – одежду.

– А уж нынче, – продолжал отец, – человеку, особенно какому молодому, есть куда силу девать. Горбач девять пудов таскал, лихой был, а к тридцати – в могилу. А девушка вон на кране одной рукой пять тонн подымает, все триста пудов.

– Выходит, значит, сила в уме, – сказал Сутырин.

– Выходит, так. А это, в воду прыгать или финкой махать... в душе, значит, пусто!

Притаив дыхание, Катя слушала этот разговор. Журчала вода за кормой, колеса стучали тихо и равномерно. Впереди покачивались на волнах белые и красные огоньки бакенов. Встречные суда возникали созвездием разноцветных огней, ночь далеко и тревожно разносила рев их гудков.

– Все из-за Барыкина, – снова услышала Катя голос отца. – Не в том дело, что разыгрывал, можно и посмеяться. Так ведь над чем? Заставлял человека работать впустую. Это уж никуда! Работа – дело святое, над этим насмехаться никак нельзя.

– Да уж натворил, – засмеялся Сутырин, – заставил поплавать.

– Конечно, и Екатерина моя не сахар, – сказал Воронин, – но девка справедливая. Этого от нее не отнимешь.

– Это так, – согласился Илюхин.

– Смелая! – Сутырин засмеялся своим добрым смехом.

У Кати сердце сжалось от благодарности и любви к этим людям, так хорошо думающим о ней.

– Еще более того простои эти проклятые в портах действуют, – сказал Илюхин, – ну прямо разлагают народ, и все тут. Хуже безделья для человека ничего нет.

– Все на это не свалишь, – возразил Воронин. – Надо было давно Кулагина на берег списать... Дело нетрудное... Нет, думаю: такому приткнуться не просто, опять в тюрьму попадет. Потому и не списывал – жалел. А жалости одной мало. Поговорить бы надо, найти к душе дорогу, а вот не умеем. Екатерина что, рубит по-молодому, так и спрос с нее какой – семнадцать лет. А мы тогда чухаемся, когда происшествие произошло.

Навстречу шел большой пассажирский пароход, освещенный огнями кают, палуб, ресторанов. Люди стояли, облокотившись о поручни, слышался их смех, звуки радиолы.

Пароход прошел, оставив на воде длинный волнистый след. И снова темные берега, огоньки бакенов, гудки пароходов. Звезды низко висят над землей. Далекая, неведомая жизнь... Что сделать, чтобы под этим голубым и звездным небом люди не страдали?

А пароход шел вперед, и белые гребни буруна длинными усами расходились от него в обе стороны, оставляя на воде пенистые полосы.

Глава седьмая

Женька Кулагин не попал в тюрьму, никуда не сгинул. После случая на «Амуре» его не допускали на суда. Он вернулся в Горький и поступил грузчиком в порт.

В порту он подружился с молодым крановщиком Николаем Ермаковым, которого уважал за огромную физическую силу и грубоватую требовательность человека, убежденного, что его дело самое важное.

Его-то и привел с собой Кулагин к Соне.

Просто зайти к Соне Женька не решался. Но парень он был ловкий и сделал так, что его пригласил отец Сони, бригадир грузчиков Максим Федорович Щапов – небольшой, кругленький, седоватый человек с красным лицом и такими же, как у Сони, большими добрыми голубыми глазами. Был он говорун и балагур, хитроват лукавой и простодушной хитрецей нижегородского грузчика, пил немного, но от угощения не отказывался.

В получку Женя завел Щапова и Ермакова в пивную. Выпили, пошли провожать старика. Женя сказал, что знаком с его дочерью Соней, плавал с ней на пароходе «Амур», хорошо знает ее подругу Катю и ее отца, капитана Воронина. При этом он поглядывал на Щапова, пытаясь определить, рассказывала дома Соня о том, что произошло на «Амуре». Но на лице Максима Федоровича, ставшем от вина еще краснее и умильнее, не появилось ничего такого, что могло бы встревожить Женю.

Максим Федорович даже и во хмелю побаивался жены, но все же зазвал ребят к себе. Во-первых, ребята как-никак его угостили, должен и он их уважить. Во-вторых, ребята – молодые, ежели их отпустить – могут загулять: у Кулагина этого в кармане вон еще пол-литра, а это нехорошо. Тем более Николай Ермаков! Он, Щапов, перед его матерью в ответе... Ермакова Мария Спиридоновна – помощник начальника участка, потомственная речница и человек каких мало! Так что пусть ребята посидят в семейном доме тихо-благородно.

Соня сначала была ошеломлена появлением Женьки, но молодые люди вели себя смирно. Оба они были в сиреневых рубашках без галстуков и маленьких кепках с модными по тому времени крошечными козырьками.

– Так-то, молодежь, – говорил Максим Федорович, стараясь не робеть перед женой, – так-то, молодежь... Вот дочка моя десятилетку кончает, среднее образование законченное, как говорится...

Соня сидела за столом в синем платице, белокурая, хорошенькая. Надо было поддерживать разговор. Она пыталась заговорить с Николаем Ермаковым. Но тот сидел насупившись, отвечал односложными, отрывистыми фразами, не глядел на Соню. Ей понравился этот могучий коренастый парень, толстогубый, широкоскулый, с большим утиным носом. Темные волосы, длинные спереди и коротко остриженные сзади, двумя прядями падали ему на лоб и глаза. Николай обеими руками, проводя ладонями по вискам, откидывал их назад и бережно прихлопывал на макушке.

Это мягкое движение, неожиданное для грубого парня, тоже понравилось Соне. И оттого, что Николай смущался, ей стало совсем весело и хотелось еще больше смутить его. С неожиданным для себя лукавством она поглядывала на него, улыбалась, и чем больше хмурился и смущался Николай, тем упорнее смотрела она на него и тем лукавее улыбалась.

Женька Кулагин был сначала оживлен, бойко разговаривал с Максимом Федоровичем и с матерью Сони, шутил с ребяташками, которые, разинув рты, смотрели на гостей. Но потом замолчал, видя, что Соня не обращает на него внимания, отвечает ему нехотя и, чтобы подчеркнуть свою холодность, улыбается Николаю. Лицо Женьки пошло красными пятнами, в

глазах замелькал хорошо знакомый Соне недобрый огонек. Но ей вовсе не было страшно, как тогда, на пароходе.

– Конечно, всех процессов механизация, – хитровато улыбаясь, говорил Максим Федорович, – естественным делом, прогресс, так сказать, по общему развитию страны. Нашего брата, грузчика, значит, побоку. Это верно. Как в старину говорили: лучше слыть дураком, нежели бурлаком. Да ведь и при машине человек нужен. Опять же – квалификация. Куда ее денешь?

– Ничего, папаша, – развязно похлопал его по плечу Женька, – на наш век работы хватит. Была бы шея.

– Грузчики будут переучиваться на механизаторов, – хмурясь, сказал Николай.

– И верно, – радостно согласился Максим Федорович, – не в попы, так в звонари. – И, подмигивая, добавил: – А может, из кобыл да в клячи. Но теперь такой вопрос: разве на всех-то грузчиков хватит кранов? Куда людей, спрашивается, будем девать?

– Кроме кранов, есть другие механизмы, – сказал Николай. – Была бы охота учиться.

– Это уж как водится. Только на факте-то мы видим обратное. Взять, к примеру, твою мать, Николай. – Он сделал почтительное лицо. – Известнейший на Волге человек Ермакова Мария Спиридоновна. Шутка сказать – из потомственнойших. Эту куда хошь! Нынче таких-то мало осталось. Но опять же скажем: не ценят. Была почти что начальником порта, а теперь перевели на участок. Оттирают нашего брата, практического специалиста.

– У матери четыре класса образования. – Николай поднял упавшие на уши концы волос и аккуратно прихлопнул их на макушке. – С четырьмя классами теперь нельзя руководить портом.

– Молодежь! – покачал головой Щапов. – Вы бы и о стариках подумали. Я ведь, Коля, и родителя твоего знал. Первой силы крючник был по всему Нижнему. Какие, бывало, на ярманку силачи-фокусники приезжали – всех забивал. Под телегу подлезет – телегу с людьми подымет. Такой человек был, такой человек...

Максим Федорович пьяно всхлипнул и полез за платком.

– Здравствуйте! Расчувствовался, – усмехнулась жена.

– Зачем ты, папа, расстраиваешься? – ласково сказала Соня. – Все это было и прошло.

– Я к тому, доченька, – сказал Максим Федорович, вытирая глаза, – что до срока погиб человек, надорвался. Ему бы только жить и жить. Вот ты, Николай, крановщик, одним словом, и образование у тебя, и вот дочка моя тоже десятилетку кончает, законченное среднее, и ты... – он ткнул в Женьку и замялся, видимо, забыл, как того зовут, – ты тоже к делу пристраиваешься. А вот я в семье восьмой был. Мне-то с братьями хорошо – вынесут тяжелое место. А ежели молодой один, ставь четвертную, тогда вынесут место... Место-то, оно, ежели, к примеру, взять кипу хлопка – двести килограммов, а как тогда на пуды считали – двенадцать с половиной пудов. Вынеси ее из трюма – двадцать четыре ступеньки! А механизация – ярмо, болванка. Вот и инвалид в пятьдесят лет. Задний лабаз – двести пятьдесят метров, сбросишь груз, а кажется, что он все еще на спине. Не только что асфальта, а и булыжника не было, грязи – океан-море, проложат от причала к лабазу дощечки, выплясывай на них с грузом-то на хребту.

Николай хмурился оттого, что при нем говорили о его родителях, и хоть хорошо говорили, а ему неудобно. И это тоже понравилось Соне.

– А вы давно на кране работаете? – спросила она.

– Четвертую навигацию, – ответил Николай, не глядя на Соню.

– Он у нас с первых порталных кранов, – добавил Максим Федорович. – Помню, первый кран осваивал.

– Наверно, сложная работа, – сказала Соня. – И страшная!

– Чем же страшная? – усмехнулся Николай.

– Высоко, – засмеялась Соня.

– Ничего там страшного нет. – Николай в первый раз посмотрел на Соню, но тут же отвернулся.

В следующий раз они пришли с Сутыриным – «Амур» зимовал в Горьком.

– Смотрите, совсем барышня! – удивился Сутырин, здороваясь с Соней, приодевшейся к приходу гостей. – А где Катя?

– Скоро придет, обещалась.

– Так сообразим? – спросил Женька. – Я на ногу быстрый.

– Только красное, – догадавшись, чего он хочет, сказала Соня.

Женька недовольно сморщился и отправился за вином.

Соня начала накрывать на стол. Проходя на кухню, она встретила в коридоре свою соседку и одноклассницу Клару Сироткину.

– У тебя гости? – спросила Клара.

– Так, знакомые, заходи, посидим.

Клара пришла и помогла накрыть на стол. В ее медленной походке, ленивой улыбке, выражении выпуклых, бараньих, глаз – во всем ее облике рано развившейся девушки всегда сквозило сознание своего превосходства, точно она знает такое, чего не знают другие девочки, причастна к тому, что для других еще тайна. Сейчас к этому еще добавилось выражение снисходительности: принимает гостей в доме, где ничего нет. Она убрала со стола граненые стопочки и принесла свои рюмки, и свои ножи, и вилки, и маленькие тарелочки, разложила на них колбасу и сыр, умело разделала селедку. Потом рассадила всех так, что сама очутилась рядом с Сутыриным, сразу смутившимся близостью этой красивой, полногрудой девушки, смотревшей ему прямо в глаза. Она внимательно слушала Сутырина, точно пораженная его умом и знаниями, и понимающе кивала.

– Интересно... Теперь я буду знать...

Пришла Катя и сразу нахмурилась, увидев Клару, – не любила ее. Клара дважды оставалась на второй год и была старшей в классе. Кате всегда была противна вызывающая тупость, с которой Клара стояла у доски и, ничего не решив, спокойно, как ни в чем не бывало садилась на свое место. Она отлично видела ее расчетливость, хитрость глупого и ограниченного человека. Эту расчетливость и хитрость Катя почувствовала и в том, Клара разговаривала с Сутыриным, как слушала его, переспрашивала, понимающе кивала. И Катя удивлялась тому, что Сутырин не видит, не замечает этого, принимает все за чистую монету, раскис, расчувствовался. И то, что он ухаживает за этой глупой, лицемерной Кларой, казалось ей изменой их дружбе.

Изменой их дружбе посчитала она и поступок Сони, пригласившей Клару ради компании, ради своих интересов. Катя видела, в чем эти интересы. Эта компания и эти интересы Соне дороже их дружбы – веселая, оживленная, смотрит только на угрюмого Николая, и ни до кого ей больше дела нет. Катя искренно хотела помириться с Женей, а никакого мира не получилось: Женя надутый, мрачный, ревнует Соню к Николаю.

Катя почувствовала себя здесь ненужной, лишней, сидела молча, насупившись, ничего не пила, не ела, усмехалась про себя: ухаживания, влюбленности – глупо все это выглядит.

Она вздохнула с облегчением, когда все собрались в клуб водников на танцы, и объявила, что не пойдет – занята. И то, как равнодушно Соня уговаривала ее пойти, еще больше оскорбило ее. Она вышла со всеми на улицу, попрощалась и ушла домой.

Клуб был переполнен, как всегда под воскресенье.

Клара танцевала только с Сутыриным. И они выделялись в толпе: он – высокий, представительный в своей штурманской форме, она – полная, красивая, нарядная.

Подбежал молоденький лейтенант и пригласил Клару. Она с удивлением посмотрела на него, перевела удивленный взгляд на Сутырина, как бы приглашая и его поудивляться

тому, что этот самонадеянный юнец пригласил ее, когда всем должно быть ясно, что ни с кем, кроме Сутырина, она танцевать не будет.

Николай Ермаков не умел танцевать и, стоя возле стены, мрачно посматривал на оживленный зал.

Соня танцевала с Женькой, и все смотрели на них. Женька – стройный, с точно прилипшими ко лбу завитками волос, Соня – беленькая, изящная в белом с красными цветами платице. Но Соне казалось, что все смотрят на них потому, что Женька танцевал чересчур лихо, выделял замысловатые фигуры. Ей было неудобно обращать на себя внимание.

Музыка смолкла. Соня сказала Женьке:

– Устроим перерыв. Неудобно... Николай один.

Но, став возле Николая, Соня уже от него не отходила. Ею овладело игривое настроение, которое было у нее, когда она сидела рядом с ним за столом, радостное ощущение того, что Николай смущается и боится ее и что она в чем-то сильнее его, и если она ему прикажет, то он сделает что-то необычайное, а если запретит, то и не сделает. И ей, всегда такой доброй и услужливой, захотелось вдруг быть вздорной, капризной, хуже, чем она есть, и видеть, что и такой она нравится Николаю.

Она никуда не отпускала его. Он захотел курить – она пошла с ним. Но в курилке было дымно, накурено. Не докурив, он ушел с ней оттуда. Ей хотелось, чтобы Николай все время для нее что-то делал. Она сказала: «Пить хочется». Он пошел в буфет, всех растолкал и принес ей бутылку воды и стакан. И она медленно пила: ей было приятно, что Николай стоит рядом с бутылкой в руке, смотрит на ее стакан и ждет, когда надо будет ей подлить, и загораживает ее своими широченными плечами.

Потом Соня сказала, что устала стоять. Все стулья у стены были заняты, и даже когда заиграла музыка и с них поднялись танцующие, на каждом стуле остался знак того, что это место занято: носовой платок, газета, шаль. По гневному лицу Николая Соня поняла, что он сейчас освободит для нее место и будет скандал. Испугавшись, она сказала:

– Я не хочу здесь сидеть, ноги отдавят. Пойдемте в читальню.

– Она сейчас закрыта.

– Нет, открыта, – настаивала Соня, чтобы только увести Николая, хотя знала, что читальня действительно закрыта.

– Ведь говорил, – с досадой сказал Николай, когда они подошли к закрытым дверям читальни.

«Когда мы поженимся, – подумала вдруг Соня, – я отучу его говорить: „Я так и знал“, „Я ведь говорил“. И она даже не удивилась тому, что так просто подумала о том, что будет его женой.

– Пойдем тогда мороженое есть, – предложил Николай.

– Вряд ли осталось мороженое, – возразила Соня.

– Обязательно осталось, – упрямо настаивал Николай.

Мороженого в буфете не было.

Соня весело проговорила:

– Вот и хорошо. У меня от мороженого всегда горло болит. Пойдемте посмотреть, как танцуют.

Николай покраснел. На ее месте он бы обязательно сказал: «А ведь я говорил, что нет мороженого».

Она взяла его под руку. Он шел грудью вперед, прокладывая ей дорогу. Его грозный вид говорил, что если кто-нибудь заденет Соню, он убьет того на месте.

Женька опять пригласил Соню. Отказаться было неудобно.

Танцевали сначала молча, потом Женька сказал:

– Соня, я тебя сейчас спрошу об одной вещи. Обещай сказать правду.

У нее сжалось сердце. Она поняла, что именно сейчас все для нее решится.

– Обещаю, – тихо ответила она, отворачивая голову как бы в танце, а в самом деле для того, чтобы не видеть взволнованного лица Женьки, его дрожащих губ.

– Тебе нравится Николай?

Соня некоторое время молчала. Потом твердо произнесла:

– Нравится.

Глава восьмая

Война!

Катя служила в госпитале – дежурила в палате, таскала носилки с тяжелоранеными.

Из вагонов в автобусы раненых перегружали ночью, в тусклом свете затемненных вокзальных фонарей. Раненые стонали, кричали, ругались, скрипели зубами. Другие не шевелились, как мертвые. На них страшно было смотреть. Когда раненый рвался с носилок, Катя сильной рукой удерживала его на месте. Рука была девичья, заботливая, и раненый успокаивался.

Персонал госпиталя находился на казарменном положении. После изнурительного дня приходилось подниматься ночью, идти на сортировку и размещение раненых, ехать на приемку или эвакуацию, занимать свой пост при воздушной тревоге. Катя научилась делать свое дело быстро, ловко, без суеты и шума.

В госпитале не хватало белья – она сама стирала его для своих больных, приносила, что могла, из дому, доставала книги, газеты, ничего не просила, никому не жаловалась. Но когда задержали починку кроватей в ее палате, Катя, не добившись толку у своих прямых начальников, пошла к начальнику госпиталя Болгаревскому.

Представительный, важный, с холемым и в то же время измученным лицом, Болгаревский, насупившись, выслушал Катю. Потом обернулся к сидевшему на диване подполковнику из округа:

– Вот с каким персоналом приходится работать.

Некоторое время он критически разглядывал Катю, отыскивая в ее одежде упущения против формы, к чему относился тем более непримиримо, что был сугубо гражданским человеком.

Но ничего не нашел. Перед ним стояла стройная девушка в гимнастерке, юбке и кирзовых сапогах, с короткими выющимися каштановыми волосами, чеканным лицом и серыми проницательными глазами.

Удовлетворенный этим осмотром, он спокойно сказал:

– В дальнейшем по таким вопросам обращайтесь к начальнику отделения. Идите.

– Хорошо, – ответила Катя, не двигаясь с места. – Но дайте, пожалуйста, приказание, чтобы починили кровати. Больные боятся на них лежать.

– Я вам ясно сказал: не нарушайте порядка. Идите!

– Я не буду нарушать порядка. – Катя по-прежнему не двигалась с места. – Но слесарь как раз в госпитале.

Наконец она вышла из кабинета. Болгаревский, извиняясь перед полковником из округа за плохую воинскую выучку подчиненного ему персонала, сказал:

– Все эти девочки со школьной скамьи. Ни опыта, ни дисциплины. – Потом вздохнул и поднял трубку телефона. – А с кроватями действительно плохо.

Начальник отделения, военврач третьего ранга Зайцева, толстенькая хлопотливая женщина с коротко подстриженными седыми прямыми волосами, обиделась на Катю.

– Я могла бы, Воронина, добиться для вас взыскания. Но я гожусь вам в матери и просто скажу: нет ничего хуже, чем жаловаться на других. Низко, недостойно.

– Я ни на кого не жаловалась! – вспыхнула Катя. – Я ходила насчет кроватей. И видите – кровати починили. А к вам я обращалась десять раз – и безрезультатно. Надо прежде всего думать о больных.

– Значит, я не думаю?

Оскорбленная упреком Зайцевой, Катя грубо ответила:

– Может быть, и думаете, но не получается.

Зайцева с укором посмотрела на нее.

– Ваше счастье, Воронина, что мы одни. Вы забываете, что здесь военное учреждение.

– Никто не дал вам права обвинять меня в наущничестве.

– Ну хорошо, хорошо, – сказала Зайцева, – не будем обижаться друг на друга, а будем вместе работать.

Она была хорошим человеком, знающим врачом, но плохим организатором – суетилась, волновалась, хваталась за все сама.

– Знаете, Мария Николаевна, – смягчилась и Катя, – люди страдают, при чем тут наше самолюбие? Какая разница, к кому я пошла? Важно, чтобы им было лучше.

Мария Николаевна посмотрела на Катю и отвернулась, скрывая выступившие на глазах слезы. Двое ее сыновей, мальчики, как и эта Катя, вчерашние школьники, были на фронте. И кто знает, не лежат ли они сейчас в госпитале, где такая же чистая и добрая девичья душа, волнуясь, негодуя и нарушая устав, добивается, чтобы починили ножки у их кроватей, чтобы на этом, может быть, последнем одре им было удобнее лежать.

Катя редко бывала у своих, и когда приходила, то ощущала дом как потерянный и вновь возникший из далекого туманного детства.

С улицы во двор вел узкий проезд. Углы дома были отбиты грузовыми машинами. В широком дворе с двумя флигелями и многочисленными дровяными сараями по-прежнему стояла – и, наверное, всегда будет стоять – странная смесь запахов: вкусный, сладковатый запах печенья из пекарни и кислый – квашеной капусты из овощной лавки.

Но что-то было не то, что-то было другое. Стояли ящики с песком, висели багры и лопаты. Многие жильцы ушли на фронт, появились новые, эвакуированные. И квартира была другая – пустая, холодная, далекая от той жизни, которой жила теперь Катя.

Мать работала на швейной фабрике; Кирилл учился в Саратове, в танковой школе; Виктор, ученик четвертого класса, один хозяйничал дома.

Приходили письма от бабушки. «Ничего, – писала она, – придет солнышко и к нашему окошечку. Остер топор, да и сук зубаст».

Бабушка умудрялась помогать своим, посылала картошку, овощи, теплые носки и варежки. Она стойко перенесла гибель старшего внука, Андрея. Только уже много позже в одном письме приписала: «Нет нашего Андрюши».

Отец служил капитаном парохода в Волжской военной флотилии, базирующейся на Горький и обслуживающей Сталинград.

Осенью 1942 года его пароход несколько раз приходил в порт. Иван Васильевич звонил в госпиталь, и Катя приезжала к нему.

Отец еще больше осунулся, но в форменной одежде, с суровым, чеканным лицом походил на того солдата, каким смутно вставал он в Катиной памяти. Она прижималась к нему, целовала в худую, морщинистую, тщательно выбритую щеку, ощущая смешанный запах мокрого шинельного сукна и махорки, так хорошо знакомый ей по госпиталю.

– Ну, ну, – говорил он, неловким движением трогая ее волосы, – ладно, ладно! Как живете-то? Что мать?

– Все хорошо, живем хорошо, мама работает, Виктор здоров, – отвечала Катя.

– Кирилл-то пишет?

– Пишет, все хорошо, – говорила она, хотя от Кирилла уже давно не было писем.

Катя заглядывала отцу в глаза и спрашивала про Сталинград:

– Папа, как там, страшно?

– Так ведь плаваем, живы.

– Да, да, конечно, – торопливо говорила она. – Здесь такие ужасы рассказывают.

– Чего ж, война, – коротко отвечал он.

Ей хотелось быть с отцом бодрой, уверенной, но не получалось – так хорошо чувствовать себя слабой, беззащитной, когда рядом сильная отцовская рука.

Он кивал на сверток, лежащий на столике каюты.

– Возьми вот, матери передай.

Это были скромные остатки его пайка – консервы, хлеб, сахар.

– Мне все равно ни к чему. Пропадет, засохнет.

Из школьных подруг Катя встречалась только с Соней. Их прошлая размолвка казалась такой глупой, такой ничтожной. Каждый винил себя: Соня – за то, что все скрывает от подружки; Катя – за то, что не поняла первой Сониной любви.

Соня поступила в порт крановщицей.

– На Сталинград работаем! – с гордостью говорила она.

Она повзрослела, немного огрубела в своей телогрейке и валенках, у нее появился этакый лаконичный портовой говорок. Но по-прежнему была приветлива и в шапке-ушанке, из-под которой падали на плечи белокурые локоны, особенно миловидна. С присущей ей сердечностью рассказывала:

– Сережа Сутырин в армии. Клара работает на складе по снабжению. У них ведь сыночек, Алеша, беленький, толстенький, не ущипнешь, весь в Сережу.

– Что он, слепой? Не видит, что такое Клара? – презрительно улыбаясь, спросила Катя.

– Значит, любит, – ответила Соня.

– Тем хуже для него.

– И она его любит.

– Уж в это не поверю. Клара никого не любит. Только себя.

– От Жени Кулагина давно ничего нет, – продолжала Соня, – а Коля... Коля пишет.

– Что пишет?

– «Домой не ждите, пока не возьмем Берлина...» В общем, все про войну... Он в письмах неинтересный.

– А в жизни?

– Очень!

– Чем же?

– Всем!

– Ну чем?

– Серьезный... Сильный... Никого не боится. И справедливый. Он в пехоте служит, а Женька Кулагин, наверно, в разведке.

– Да, – согласилась Катя. – Женька, наверно, разведчик. Это по нем... А ты его любишь? Николай?

– Все время о нем думаю. Работаю – думаю. Дома сижу – думаю. Сплю – во сне вижу. Ну что про это рассказывать!

– Нет-нет, рассказывай. Мне интересно.

Но как ни хорошо говорила Соня о Ермакове, Кате он казался чем-то похожим на Женьку Кулагина, – может быть, потому, что дружил с ним. Она в своем воображении связывала их. Но когда она думала о Женьке Кулагине и представляла себе его в военной шинели, с автоматом или гранатой, то он ей казался совсем другим: не таким, каким был тогда, на пароходе.

– Неужели тебе никто не нравится? – спросила Соня.

– Никто.

– Никто-никто?

– Никто.

– А ты нравишься кому-нибудь?

– Не знаю. Наверно... Таким, которым все нравятся.

– Но ведь столько людей ты видишь.

– Для меня раненые – только раненые. И больше ничего не может быть. Я должна относиться ко всем одинаково. Иногда мне кажется: красивый, интересный, умный. А ведь неизвестно, что получится. Вдруг окажется, что любви нет. Он будет страдать, а ему и так страданий хватает. Госпиталь есть госпиталь.

* * *

Двадцатилетняя девушка, выполняющая неизбежную в госпитале черную работу, может, конечно, потерять романтическое представление о любви. Но с Катей этого не произошло. В открытом взгляде ее серых глаз не было ничего подающего надежду, ободряющего к ухаживанию.

Санитарка Лаврикова встречалась с выздоравливающим солдатом. По мнению Кати, она была честной женщиной: одна – ни мужа, ни детей – и солдата этого по-настоящему любила. Врач Писарева, которая послала мужу на фронт развод и вышла замуж за начальника медчасти округа, хотя и сделала все открыто и официально, была в Катином представлении женщиной непорядочной.

Катя так и сказала на собрании персонала:

– Лаврикова нарушила правила внутреннего распорядка, и ее здесь ругают. Военврач Писарева растоптала нашу мораль, и никто ей не сказал ни слова.

По этому поводу был неприятный разговор у начальника госпиталя.

Возле стола с каменным выражением красивого, но, по мнению Кати, порочного лица, стояла Писарева.

– Медсестра Воронина, – сказал Болгаревский официальным голосом, – вы служите в военном госпитале и должны знать, что приказы командования не обсуждаются. Персоналу на собрании был объявлен мой приказ о санитарке Лавриковой. А вы, вместо того чтобы принять его к сведению, завели недопустимый, глупый и бабский разговор. Ставлю вам это на вид, медсестра Воронина. Для первого раза.

– Слушаюсь, – ответила Катя. И тут же добавила: – Я только высказала свое мнение.

– Оно никого не интересует. Вы оскорбили врача Писареву и будьте любезны извиниться перед ней.

Катя подумала и сказала:

– Мне не в чем извиняться. Если я в чем-нибудь виновата, то наложите на меня взыскание, а извиняться я не буду.

Болгаревский спросил:

– Но вы понимаете, что поступили неправильно?

Кате стало его жаль: занятый и усталый человек тратит время на пустяки.

– Приказ, конечно, я не имела права обсуждать, – сказала она.

Торопясь закончить неприятный разговор, Болгаревский счел такой ответ удовлетворительным и обернулся к Писаревой:

– Ну вот видите.

Писарева вышла. Болгаревский поднял на Катю усталые глаза.

– Знаете, Катя, я очень хотел бы лет так через десять увидеть вас в роли руководителя медицинского учреждения, где девяносто процентов персонала – женщины.

– Я не собираюсь быть врачом.

– Ваше счастье, – совсем уже миролюбиво произнес Болгаревский.

Глава девятая

Заканчивался сорок третий год. Все устремилось на запад: войска, заводы, эшелоны, эвакуированные. Опять в сводках Совинформбюро замелькали названия знакомых городов – теперь их уже не оставляли, а освобождали. Госпитали тоже двигались на запад, но тот, в котором служила Катя, остался в Горьком.

В редкие свободные вечера сотрудники устраивали вечеринки в складчину, на которые один приносил четвертинку спирта, другой – полбуханки хлеба, третий – несколько картошек, четвертый – сто граммов топленого масла. Собирались обычно у хирурга Евгения Самойловича.

Этот небольшой рыжеватый человек в очках, лет сорока, ленинградец, был придирчив и ворчлив в операционной, но добр и покладист в быту, не приспособлен к ношению военной формы, ходил дома в стареньком джемпере, в галифе и стоптанных туфлях. В его большой и пустой комнате царила подкупающая неустроенность одинокого мужчины, непрактичного, беззаботного, любящего общество, особенно женское, ко всем одинаково внимательного и, может быть, одинаково равнодушного. У него всегда находилось вино, хотя сам он не пил, был патефон и пластинки, хотя сам он не танцевал.

Все здесь нравилось Кате: закопченный чайник – его ручка была с одной стороны оторвана, наливать из него кипяток мог только один Евгений Самойлович; закрывающаяся ложка для заварки чая – ее запор тоже был не в порядке, каждый раз Евгений Самойлович предупреждал, что с ложечкой надо обращаться осторожно, и ревнивым взглядом следил за ней; печенье – Евгений Самойлович сам изготавливал его из хлеба.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.